

# ЗАПИСКИ

РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  
ГРУППЫ В США

ТОМ XXVIII

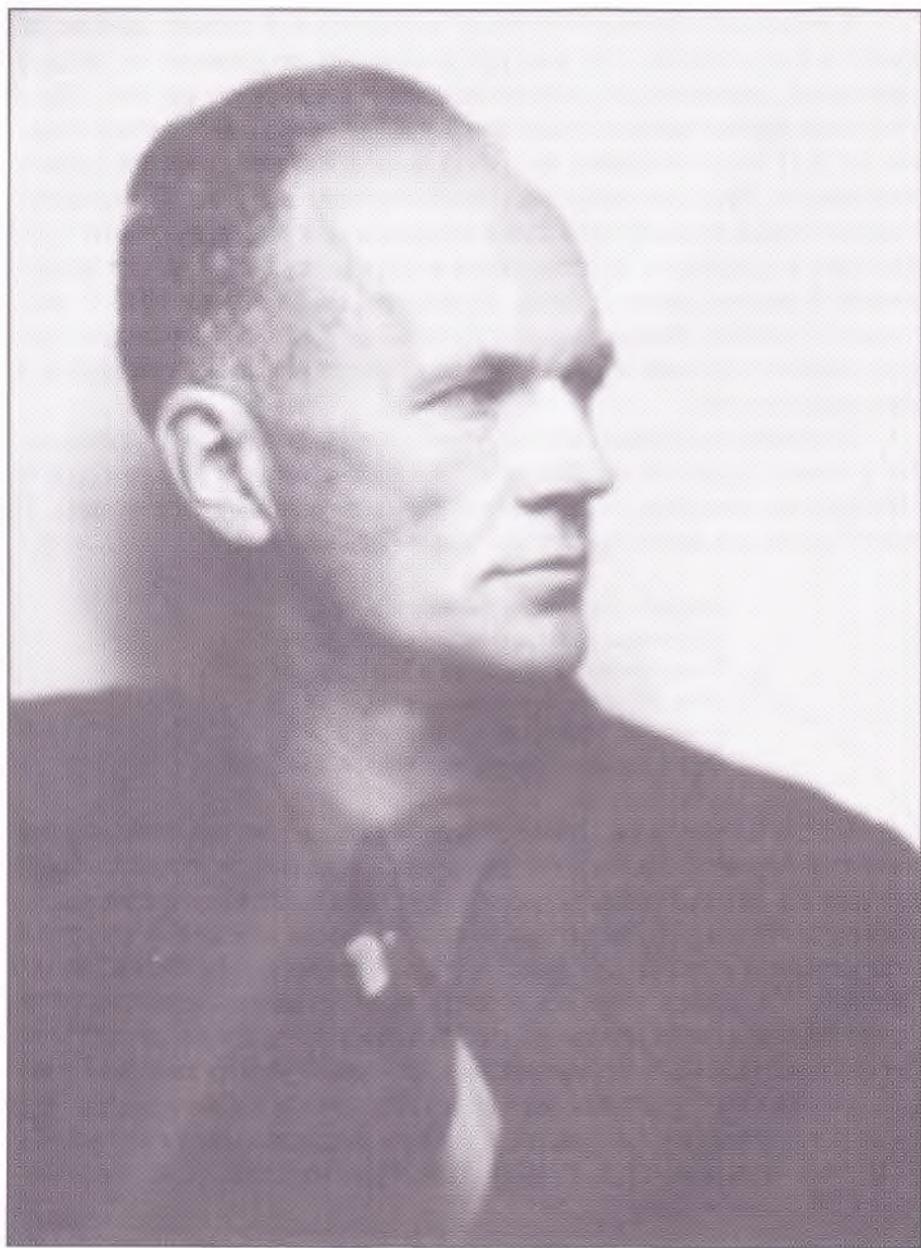


VOLUME XXVIII

**TRANSACTIONS**  
OF THE ASSOCIATION OF RUSSIAN-  
AMERICAN SCHOLARS IN THE U.S.A.

NEW YORK

1996-1997



Е.Е. Климов.  
Снимок середины 1940-х годов.

## Из воспоминаний Е. Е. Климова\*

### I

#### Прага

*Из воспоминаний 1944-45 гг.*

Мне пришлось прожить в Праге неполный год. С городом связано у меня много хороших, захватывающих воспоминаний, но было там немало и тяжелого. Все вместе образует в моем представлении какой-то один клубок, где все переплетается, закручивается и проходит через щель Кондаковского института во главе с его заведующим, Николаем Ефремовичем Андреевым. Прага без Николая Ефремовича для меня не Прага.<sup>1</sup>

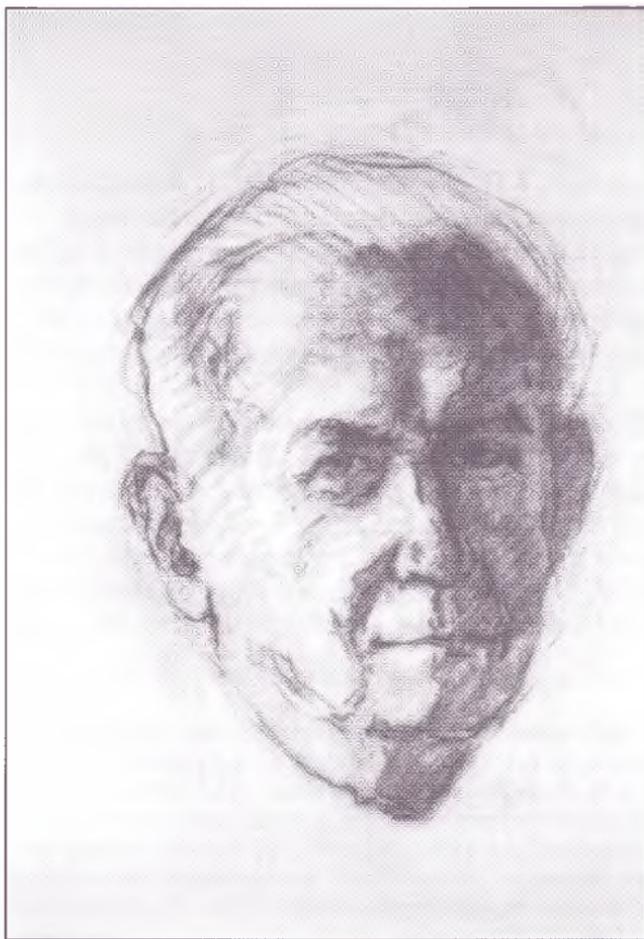
Чарующая, блестящая, нарядная и живая Прага не стала мне близкой. Все ее красоты остались вне моего восприятия. Я не сомкнулся с ними, не увлекся ими, остался холоден к их прелестям. Эту чуждость Праги я так и не преодолел. Внешний ее блеск казался мне неоригинальным и неподлинным. Все архитектурное обличье напоминало то одно, то другое. Самодовлеющих ценностей архитектуры в Праге я не замечал, сами чехи были мне совсем дале-

---

\* В этом номере мы публикуем отрывки из воспоминаний известного русского художника Е. Е. Климова (1901-1990), любезно предоставленные *Запискам* его сыном, проф. А. Е. Климовым. Воспоминания охватывают 1944-45 годы, время когда Е. Е. Климов находился в Праге, а также и послевоенные месяцы в Чехословакии. Воспроизводятся некоторые портретные рисунки художника, относящиеся к этому периоду. Основной текст воспоминаний был написан Е.Е. Климовым в 1945 г. и затем отредактирован им в 1975 г. Примечания составлены при подготовке текста к печати.

ки. Различные культурные влияния и особенно различие религии наложили такой отпечаток, что славянская общность не помогала делу общения. Со стороны чехов чувствовалось всегда некое высокомерное отношение ко всему остальному славянскому миру, к России в том числе, при весьма поверхностном знании культурных ценностей России, а это создавало атмосферу, мало пригодную для взаимного понимания. Конечно, тут бывали исключения, но вообще мы жили в разных мирах.

Первого, кого я хочу с благодарностью вспомнить, кому я обязан всеми пражскими работами и встречами, через кого я вошел в круг новых знакомств, был Н. Е. Андреев.



*Н.Е.Андреев.*  
Рис. Е.Е. Климова  
1977 г. Канада

Впервые встретились мы с ним летом 1937 года в Изборске, в квартире дорогого Александра Ивановича Макаровского.<sup>2</sup> Он нас и познакомил. Н.Е. работал тогда в Псково-Печерском монастыре по заданиям Кондаковского института, встречались мы с ним и в Печорах. Раза два-три он заезжал в Ригу по дороге в Прагу, но тут встречи были мимолетны, хотя один раз ему удалось посетить Иоанновскую церковь, где мы вместе с художником Ю.Г. Рыковским<sup>3</sup> расписали абсиду на тему «Святой Троицы». Мы довольно интенсивно переписывались, но с началом войны переписка заглохла и возобновилась только в 1942 году. В связи с военным и тревожным положением у меня возникла осенью 1943 года мысль послать часть своих картин в Прагу, как в более надежное место. Постепенно мысль моя расширилась, и я предложил Николаю Ефремовичу устроить в Праге выставку своих работ. Переписка, хлопоты, как с его стороны, так и с моей, длились месяцы. Только в первых числах июня 1944-го были получены все разрешения на поездку, и я очутился в Праге. Строго говоря, лишь с этого времени и начинается мое настоящее знакомство с Николаем Ефремовичем, только здесь я увидел его подлинного, во всем разнообразии его настроений, в бурных порывах горячего темперамента, в тонких и глубоких рассуждениях, увидел его в «натуральную величину», как он любил говорить.

По внешнему виду грузный и широкоплечий, мешковатый и чуть косолапый, он ходил мелкими шагами, закинув руки за спину. Полнота его была не от здоровья, скорее была одутловатость в лице и шее. Маленькие глазки весело и зорко смотрели сквозь расщелины век. Вьющиеся волосы, чуть отстающие уши и очень часто порезанная бритвой кожа, лоб скорее широкий, чем высокий — вот некоторые черты его лица. В костюме его замечалась неряшливость. За всеми этими, скорее обычными внешними чертами, скрывался необыкновенно живой, острый ум. Все его главное внимание направлено было на Институт, на сохранение его жизни и деятельности. Осторожность и политичность заставляли его быть иногда скрытным, но это всегда было не «во имя свое», а во имя любимого им дела. Его собственная научная деятельность в последнее время заглохла, административная работа и заботы об Институте отвлекали все его внимание.

Николай Ефремович родился в 1908 г. в Петербурге. Родители его, глубоко культурные люди, работали в исправительной коло-

нии для малолетних преступников под Петербургом. У них было четверо детей, из которых Кока был старшим. Вся семья жила в той же колонии. После революции, во времена гражданской войны семья Андреевых очутилась в Гдове, под Нарвой. Начавшаяся эпидемия дезинтерии унесла в могилу трех детей, остался один Кока, он тоже был при смерти. Родители едут дальше в Ревель, организуют школу, затем дают частные уроки. Кока поступает в русскую гимназию и сразу же выказывает блестящие способности по литературе. По окончании гимназии перед ним встает вопрос, где продолжать образование. Он сам выбирает Прагу, куда приезжает осенью 1928 года с довольно ограниченными материальными средствами. (Рассказывал он комично о приключении с багажом во время проезда через Германию. Спрашивал его кондуктор, чей это Герäск [т.е. багаж]? Ему же послышалось «ге-пе-у» и он поспешно отвечал: «nicht».)

По прибытии в Прагу, в большой незнакомый город, он записывается в Карлов университет и первое время на чешских лекциях буквально ничего не понимает. Эти начальные годы были особенно трудны: не было знакомых, на плохо одетого студента косо смотрели, питание было скудное. Но живой ум, сметливость и яркая одаренность заставляют обратить на него внимание профессоров, и Н.Е. начинает получать пособие, правда не слишком высокое, потом получает заказы, сотрудничает в газетах и журналах, составляет отчеты о современной советской литературе. Но серьезная научная деятельность начинается только после знакомства с членами Кондаковского семинария. Здесь он начинает свои первые научные опыты и посвящает их эпохе Ивана Грозного. Темой его докторской диссертации было исследование о деле дьяка Висковатого.<sup>4</sup> В связи с его интересом к эпохе XVI века были его командировки в Печерский монастырь.<sup>5</sup> Результаты его изысканий пролили новый свет на историю монастыря. Он говорил, что ему стало известно место в Никольской церкви монастыря, где по указаниям летописи должна быть фресковая живопись.

Постепенно Николай Ефремович становится деятельным сотрудником Института и исполняет там должность секретаря. Война застала его в Праге, в то время как другие сотрудники находились за границей. Чтобы не дать чужим «съесть» Институт с его ценнейшей библиотекой и собранием икон, надо было приложить много энергии, изворотливости и такта. Все это Николай Ефремо-

вич проделал с великими трудностями, отвоевав право на самостоятельное существование Института. Я застал Н.Е. уже в должности заместителя директора. Несмотря на свои молодые годы (в 1944-м году ему было только 36 лет) и очень моложавый вид, после первых же слов чувствовалась в нем большая культура, ум и тонкий юмор. Любовь к матери, заботы о ней и о ее переезде из Ревеля после смерти отца, показывали в нем нежного и привязанного сына. Но постоянная настороженность по отношению к немцам и вечные заботы об Институте заставляли главенствовать в нем умозрительные качества. Чувства свои он подчинял рассудку и только со вспыльчивостью своею порою не умел совладеть, хотя и ее одолевал спустя 15-20 минут.

С искусством живописи он соприкасался мало, да и в самой иконописи видел более иконографическое письмо, чем искусство. Это была школа Кондакова. Завоеванное же им положение давало ему повод несколько критически относиться к людям.

Николай Ефремович открывался мне постепенно, каждая встреча и разговор, совместная поездка или прогулка открывали мне его в новом свете. Как и у всякого человека, в нем были, конечно, разные стороны, более или менее симпатичные. Были люди его не любившие, относившиеся к нему недоброжелательно, но это были как правило те, кто не понимал и не ценил той громадной и ответственной работы, которую проделывал Н.Е. для Института. Рост и сохранность Кондаковского института до 1945-го года, обогащение его новыми экспонатами — все это дело Николая Ефремовича. Зная все эти обстоятельства, надо было прощать ему его повышенную нервность и вспыльчивость. Любовь его к России, к русской истории и литературе была главным его помыслом, да и сам Институт в конечном плане рассматривался им через призму России. За это можно и должно было уважать Николая Ефремовича. Независимый же тон его многим не нравился.

У него было много знакомых и учеников. Он унаследовал от родителей педагогический дар, с удовольствием вел уроки русского языка среди чехов, но в последнее время отказывался от уроков, чтобы сохранить для себя хоть какие-то свободные часы. Одно время он вел преподавание и на курсах.

Жизнь Кондаковского института и жизнь самого Н.Е. открылась мне полнее с того момента, когда я стал там ежедневно

работать по реставрации икон. Уже с утра начинались звонки. Хотя официально было трое помощников, но душою всего дела был сам Н.Е. Часто он сетовал, что никто из помощников не живет и не болеет делами института. Библиотекарь С.А. Левицкий<sup>6</sup> жил философскими проблемами, но так и не сумел составить описи книг всей библиотеки, а другой помощник, Евгений Иванович Мельников, казался обиженным судьбой человеком: приходил, когда ему было угодно и видимо занимался какими-то своими делами. Вячеслав Иванович Наливкин исполнял черную работу: отправлял посылки, упаковывал репродукции икон, рассылавшиеся по всей Германии, приносил из погреба уголь и пр. Почта приходила утром, Н.Е. сам ее открывал и записывал. Потом приходил почтальон с деньгами. Тут были деньги за полученные репродукции икон, были новые заказы и запросы. Все это надо было записать, ответить, сделать новые пакеты, отправить, в конце месяца подвести итоги и написать отчет. С самого утра начинались посещения Института.

Кого-кого только не было в Институте! Приходили ученые иностранцы, художники, любители и ценители икон. Кореец знал и любил русскую литературу, итальянец увлекался примитивами и ценил иконы, австрийцы восторженно переживали изучение Востока. Каждое такое посещение давало новые импульсы. Не помню, чтобы Н.Е. кому-либо отказывал, но, наоборот, всегда воодушевлялся новыми знакомыми и рад был проявляемому интересу к русской культуре. Вообще объяснять и показывать Институт он был мастер. Все оживало при его рассказах и становилось важной частицей культурной жизни, особенно ценной и необходимой. Обыкновенно после осмотра Института переходили в комнату Николая Ефремовича, где его мать, милая Екатерина Александровна, гостеприимно угощала чаем, печеньем, пирожками, компотом и пр. Тут беседа неизменно переходила на русские темы, а если посетитель был человеком из России, то разговоры становились еще страстнее и напряженнее. Редко кто обладал такою памятью, как Н.Е.; знания его о современной русской литературе и поэзии были огромны, он мог цитировать современных поэтов наизусть целыми страницами. Но меня всегда удивляло, что русская живопись ему была мало знакома.

В общении с людьми Н.Е. бывал различен. Я наблюдал его в разном обществе и частенько мне бывало не по себе от его заме-

чаний и резкого тона. Если же он был усталым или раздраженным, то буря слов топила и уничтожала его собеседника или собеседницу.

Думаю, что только мать не подвергалась его критике. Что было причиной его скепсиса? Тяжело сложившаяся студенческая жизнь, вспоминая которую он всегда нервничал и горячился? Неудавшаяся семейная жизнь? Или было это врожденной чертой? Мне трудно об этом сейчас сказать. Несколько раз был он на пути к женитьбе, но дело почему-то расстраивалось, хотя в дальнейшем это не мешало ему вполне дружески встречаться с предметом своего пламенного увлечения. Мне потом рассказывали, что одна из посетительниц Института пять раз отвергала предложения Н.Е. Когда ее родные рисовали ей будущую интересную жизнь и указывали на положительные качества Н.Е., она ответила: «Какой это мужчина! — он даже плавать не умеет!» Это не мешало ей запросто бывать в Институте и быть с ним на «ты».

Он был безусловно верующим человеком, но не был рьяным церковником, хотя и посещал часто церковь. Вместе с тем он верил в приметы. Один его рассказ мне хочется вспомнить.

Еще в молодости какая-то цыганка ему напороочила, что он умрет в возрасте 33-х лет. Приближался этот роковой год и Николай Ефремович начал чувствовать тяжесть жизни и словно бессмысленность всего сущего. Не хотелось ничего предпринимать, не хотелось работать. В это время заболел отец, живший тогда в Эстонии, надо было хлопотать о визах, но вместе с тем он чувствовал, что поездка станет для него роковой. Все попытки добыть нужные для проезда документы ни к чему не привели, он получил отказ. Отец так и не увидел перед смертью своего собственного сына. К чувствам печали и отчаяния примешалось инстинктивное чувство избежавшей его опасности. Наступал день его рождения, когда ему исполнялось 34 года и вместе с тем конец рокового срока предсказанной ему смерти. Под вечер накануне дня рождения раздается сильный звонок. Н.Е. открывает дверь, перед ним стоит русский писатель-празанин и говорит: «Ты умер. Я тебя убил в своем романе!» Надо сказать, что писатель вывел Н.Е. в романе, как главного героя. Слова писателя разрядили напряженное ожидание чего-то жуткого и Н.Е. почувствовал освобождение от тяготевавшего над ним рока.

Осенью 1944 года Н.Е. заболел дифтеритом. Когда он начал понемногу поправляться, то ходил дома в зеленом полосатом халате и внешнеюю своею очень напоминал мне почему-то Чичикова. Раза два-три я говорил ему, что готов написать с него портрет этого персонажа. Он как-будто немного обиделся, но до портрета так дело и не дошло.

Осторожность Н.Е. при немцах доходила до того, что он не появлялся в обществе, где знал, что будут «сомнительные» люди; не сидел в театре рядом с такими людьми, чтоб не подумали, что с ними он хорошо знаком и т.д.

В последние месяцы до конца войны он очень мучился вопросом, ехать ли ему из Праги, уходя от большевиков, или оставаться. Чувство ответственности за Институт в конце концов перевесило, и он остался. (Сыграла тут, видимо, роль и широко распространенная в то время мысль, что Прага скорее всего будет взята американцами.) Первые дни и недели после занятия Праги большевиками он ходил как в чад. Показывал Прагу русским военным, красные офицеры в большом количестве приходили в Институт и с вниманием слушали вдохновенные объяснения Н.Е. Потом начинались долгие беседы за чаем.

Такой вихрь и чад продолжался около двух недель.<sup>7</sup> Кто-то несколько раз справлялся, дома ли он, его не было. 23-го мая за ним пришли и, несмотря на то, что в Институте как раз была большая группа военных, его увели. Через несколько дней он вернулся в сопровождении майора, якобы за бельем. Майор следил за разговором Н.Е. с матерью и ни о чем по-настоящему Н.Е. сказать матери не мог. На вид он казался оживленным. Забрав кое-что из белья (советовали теплое), Н.Е. ушел, а майор сказал, что они опять вскоре появятся, но больше уже никто Н.Е. в Праге не видел. Где он, куда его направили, за что его, собственно, взяли, никто не получил ответа. Все попытки помочь остались тщетными. Нажимали самые высокие «кнопки» в чешских кругах, но там было заявлено, что они рады были бы помочь, но это вне их компетенции. Так Н.Е. и пропал. Где он и когда он найдется, увижу ли когда-нибудь его снова? Много доброго, участливого отношения видел я с его стороны и так жалею, что нет у меня ни рисунка, ни наброска его головы.

Таким порывистым, горячим и воспламеняющимся останется Н.Е. в моей памяти. Хотелось бы хоть раз встретиться еще,

поработать вместе и, «тряхнув стариной», вспомнить пражский эпизод жизни.<sup>8</sup>

[Весной 1948 года пришла весть, что Н.Е. в Берлине, дает уроки, просидел после ареста больше двух лет в тюрьме, а потом его вызвали в Англию, в Кембриджский университет.<sup>9</sup>]\*

\* \* \*

В первый мой приезд в Прагу в июне 1944 года я застал Н.Е. еще одного. Он каждый день писал матери, звал ее к себе. Ему немцы много раз отказывали, но все же, наконец, разрешение на въезд матери было выдано. В начале июля 1944 года она приехала к сыну, и когда я в августе попал вторично в Прагу, то застал Н.Е. уже с Екатериной Александровной.

Высокая, красивая, представительная, она хранила в себе черты наследственного благородства. Педагог по призванию, она прекрасно рассказывала, помнила мельчайшие подробности своей педагогической практики в исправительной колонии. Никогда не слышал я от нее при Н.Е. слова отчаяния или печали. Ровная и спокойная она несла в себе крест гибели троих детей и смерти мужа. Всегда радушная и гостеприимная, она любила людей, интересовалась их жизнью, помнила многое и помогала всем, кому могла. Советовала о своем Коке, что не удалось ему жениться, что холостяцкий образ жизни стал слишком ему близок.

Она была глубоко верующим человеком, посещала часто церковь, молилась истово, кладя порывистые глубокие поклоны, напоминая мне этим русских баб в Печерском крае. Она верила, что добро, ею сделанное, отзовется где-то в другом месте и не пропадет. Такое изживание и построение жизни на основе добра влекло к ней и делало ее удивительно обаятельной. Ей, бедной, временами все же бывало в Институте трудно. У нее не было своей комнаты, своего угла. Постоянные звонки, люди, толчея не давали ей возможности отдохнуть. Множество знакомых Н.Е. естественно стали знакомыми Екатерины Александровны. Вести хо-

---

\* Все помещенное в квадратные скобки я узнал уже значительно позднее и включил в эти воспоминания при перепечатке их в 1975 году в Монреале, Канада (Примечание Е.Е. Климова).

зьяйство ей было тяжело, т.к. ни чешского, ни немецкого языков она не знала и потому все закупки приходилось делать Н.Е. или его знакомым.

Пара — Екатерина Александровна и Николай Ефремович — была замечательная и всегда интересная. Всюду их встречали с удовольствием, а дома у них всегда находили тепло, ласку и приют от Катерины Александровны, и полную трепетного отношения к жизни беседу с Николаем Ефремовичем.

Вспоминаю елку на Рождество 1944-го года, когда мы со своими ребятами были приглашены к Н.Е. Сколько любви и тепла увидели дети, как веселились! Играли в «Телефон», в «Длинный нос» и другие игры. Не только ребятам, но и взрослым было хорошо и весело.

После ареста Н.Е. я видел Екатерину Александровну только один раз. Я приехал нелегально в Прагу и зашел к ней. Она сдала внутренне, потеряв свою опору — сына — и обвиняла себя и знакомых, что все так доверчиво отнеслись к большевикам, что не уберегли ее Коку. Пустынно и бессмысленно чувствовала она себя в Институте. Я почувствовал, что и во мне она видела долю вины, что Н.Е. заблаговременно не уехал. Ее доброе ко мне расположение было заглушено ее безысходным горем. Мое же пребывание в Праге, да еще у нее на квартире, было опасно; я долго у нее не задерживался. Последняя встреча с ней — тяжелое и грустное воспоминание.

[Позже уже я узнал, что ее выселили обратно в Ревель, но что Н.Е. с трудом удалось ее выписать в Кембридж, где она прожила несколько лет и там же скончалась. Я храню ее удивительно теплые письма и вспоминаю о ней с большой любовью.]

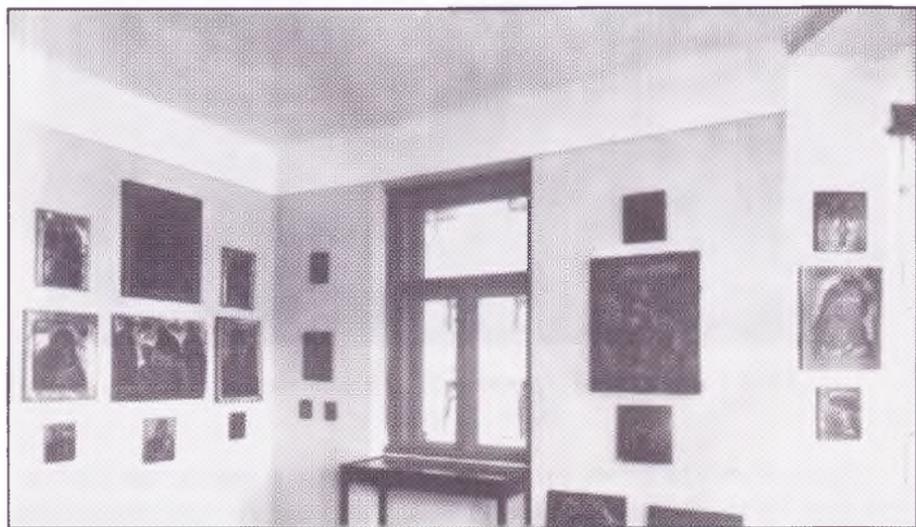
\* \* \*

О практической работе Кондаковского института я уже говорил. Я не касаюсь научной деятельности, я недостаточно ее знаю.

Н.Е. привлек к работе в Институте ряд лиц, образовав Правление, для того, чтобы в дальнейшем его не обвинили в самоуправстве. Председателем Правления Кондаковского института был молодой князь Карл Шварценберг, богатейший магнат, владевший несколькими замками, полу-немец, полу-чех. Он каким-то чудом говорил на ломанном русском языке, применяя невпопад русские



Кондаковский Институт в Праге.  
Читальный зал. Снимок сороковых годов.



Кондаковский Институт в Праге.  
Выставка икон. Снимок сороковых годов.

поговорки. В Институте его считали скупым, что м.б. было несправедливо. Высокого роста, фатоватый, с усиками, он большими интеллектуальными достоинствами не отличался. Однако такая фигура, как князь, помогала вести дела Института по чешской линии, где с именем князя считались. Думаю, что и самого Шварценберга тешило сознание представительности. Он интересовался геральдикой, собирал по этому вопросу материалы, что-то писал, но как он попал в орбиту Института, я не знаю.<sup>10</sup>

[Из газет весной 1948 г. я узнал, что князь стал чешским послом при Ватикане и после коммунистического переворота в Чехии отказался вернуться на родину.]



П.Н. Савицкий. *Портрет Е.Е. Климова (масло).*  
1945 г. Прага.

Другой и куда более интересной фигурой в правлении Института был Петр Николаевич Савицкий. Один из основоположников евразийства, ученый географ, втайне поэт, человек, обладающий колоссальной памятью. Петр Николаевич страстно любил Россию. Эта страстность была его главным жизненным нервом.<sup>11</sup>

Худой, чуть покривившийся и сутулый, с впалой грудью (он болел в молодости легкими), П.Н. хранил добрую улыбку и добрые глаза. Все, о чем бы он ни говорил, приобретало напряженный и динамический характер. Знания его были универсальны. Какого бы вопроса не коснуться в беседе — он знал все, но главным образом все относящееся к России, к ее прошлому и настоящему. Ему хотелось верить, что многое в России изменилось к лучшему, а долгое пребывание в эмиграции в оторванности от условий русской жизни делали его доверчивым к большевикам более, чем следует. Это, в конце концов, его и сгубило. После прихода красных П.Н. остался в Праге, был арестован и выслан на Колыму.

Весною 1944 года его много раз вызывали в немецкие учреждения, посылали на работу в какие-то мастерские, откуда за ненадобностью увольняли. Наконец направили в Кондаковский институт. Здесь разбирал он библиотеку, заносил в каталог, систематизировал ее, и делал это с жаром, со страстью, как все, чем он занимался. Здесь, в библиотеке Института, на фоне книжных полок, я писал его портрет. Было холодно, не топили, он сидел в пальто и читал. Мы обменивались мнениями, он с интересом следил за моей работой. Работа же моя двигалась неровно. Он сопереживал и поддерживал во мне желание дойти до нужного качества. Пережили мы вместе налет на Прагу 14-го февраля 1945-го года, когда около 12-ти часов раздался предупредительный вой сирены, которому мы не придали особого значения. Через три-четыре минуты раздалась сильные взрывы бомб. Мы бросили работу и побежали в погреб. Портрет мой упал на палитру, в нескольких местах прилипла к нему густая краска. Временами я вообще в отчаянии хотел бросить работу, но потом брал себя в руки и писал снова. Петр Николаевич терпеливо сидел, никогда не протестовал и был в конце концов очень доволен портретом. Мне самому казалось, что портрет не столько красив, сколько правдив. Эту работу я подарил Институту, взамен чего Н.Е. сделал мне прекрасный снимок в размер оригинала. Петру Николаевичу я подарил первый набросок карандашом, он реваншировался рядом евразийских изданий.

Во время сеансов мы беседовали на разные темы, главным образом о русской живописи. Тут знания его были исключительны, он называл художников-учителей и их учеников. Он перечислил мне линию развития русской живописи от Матвеева и Аргунова до передвижников, называя учителя и ученика, сводя все к корням —

к иконописанию. Как-то я заметил ему, что жаль, что Европа не знает русской живописи, на что он ответил: «И не надо, у русской культуры *свои* пути, она не нуждается в Европе. Русская культура самодостаточна. Русская живопись не теряет связи со своей основой — иконописью. Матвеев, Аргунов, Левицкий, Боровиковский и другие либо начинают как иконописцы, либо возвращаются к иконописи — Васнецов, Нестеров».

Вспомнились мне тогда и современные русские художники Петров-Водкин, Фаворский, Дейнека, своим творчеством подтверждающие эту мысль.

Как я упоминал, Петр Николаевич был поэтом. Жалею, что я тогда списал только два его стихотворения. Первое из них посвящено игумену Псково-Печерского монастыря, убитому, как считается, по приказу Ивана Грозного в 1570 г.

### КОРНИЛИЙ

Игумен Псково-Печерский

Строитель крепкий, деловой,  
Хранитель рубежей — Корнилий,  
Чьи меры к истине святой  
И «полуверцев»<sup>12</sup> обратили,

Тобой воздвигнута стена,  
Руси ограда и твердыня,  
Тебе, игумен, не страшна,  
И гнева царского гордыня.

Ведь взгляда царева огни  
Ты стойко выдержал, Корнилий,  
И копы царских слуг — они  
Тебя, пронзая, не сломили.

Второе стихотворение было посвящено иконе «Спас», которую я тогда очищал.

## СПАС

Из собрания К. Солдатенкова<sup>13</sup>

Играет на щеках румянец,  
Легла волнисто прядь волос,  
И каждый мастера узнает  
В рисунке тканей и полос.

А шеи выпуклой и строгой  
Едва заметен поворот,  
И Знающий дела и сроки  
Глядит на мир и на народ.

Глядят со скорбью и призывом  
Всезнающей любви глаза.  
Так смотрит делатель из нивы,  
Так смотрит пастырь на стада.

Собрание своих стихов, напечатанное на машинке, П.Н. передал Николаю Ефремовичу с просьбой хранить его в архиве Института без права оглашения его авторства. Две-три такие же копии стихов он передал на хранение в другие учреждения. Н.Е. свято хранил данное им обещание и ни разу не обмолвился; об авторстве Петра Николаевича я узнал от Екатерины Александровны. Сам П.Н. тоже не обмолвился ни словом, хотя я намекал несколько раз. Такая скромность и как бы стыдливость мне импонировали.<sup>14</sup>

Как один из основоположников евразийского учения, П.Н. был и фанатиком своей идеи. Часто видел он в событиях и в фактах то, что желал видеть, а именно все в свете евразийства. Рассказывали мне, будто он восторженно встретил вступление Красной армии в Прагу, писал даже на эту тему стихи. Его приглашали на какие-то собрания, обеды. Весь этот розовый мираж скоро кончился. Петр Николаевич был арестован вместе с Н.Е. О нем тоже ничего нельзя было узнать, где он, выдержит ли здоровье, узнаем ли что-нибудь о его судьбе?

В его лице я видел и чувствовал всегда исключительную силу воли, могущую много претерпеть. Это дает основание предполагать, что психологически перенести он сможет многое, все будет зависеть от его здоровья. Жаль, что нам не пришлось ближе познакомиться, время было тревожное, он жил далеко, к себе не звал, а

позвать его к себе я тоже не мог; мы встречались только в Институте.

[Уже в Мюнхене весной 1946-го года пришлось мне услышать, что Петр Николаевич был за время эмиграции три раза в СССР. Не знаю, почему он нашел нужным скрывать это от меня. Еще позже, уже в Канаде, узнал я через Николая Ефремовича, что П.Н. после ареста просидел в лагерях и тюрьмах одиннадцать лет, возвратился в Прагу больным, подвергался там разным неприятностям, от которых его спас Н.Е. Издание книги стихов П.Н. Савицкого — под псевдонимом «П. Востоков» — также было осуществлено стараниями Н.Е. в 1960 г. Скончался П.Н. Савицкий в Праге в 1968 г.]

\* \* \*

Четвертым членом Правления Кондаковского института был чех Иосиф Иосифович Мысливец. Бегло, но неправильно, говорил он по-русски, делал самые невероятные ударения, бывал язвителен и едок. Примыкал к униатам, т.е. католикам восточного обряда. Служил в суде и в свободное время писал книгу об иконописи. Память его была значительна, он знал и помнил разные апокрифы, сказания, но в определении времени написания икон часто ошибался. Он почему-то всегда хотел видеть иконы более старыми, чем они были на самом деле. Иконопись, как искусство, им не воспринималась. К моей работе он относился с доверием; однажды повел меня по старым пражским церквам и мы осматривали старинные фрески. В день памяти Н.П. Кондакова (100 лет со дня рождения) после моих сообщений о произведенных реставрациях икон, Иосиф Иосифович в исключительно теплых выражениях говорил о моей работе.

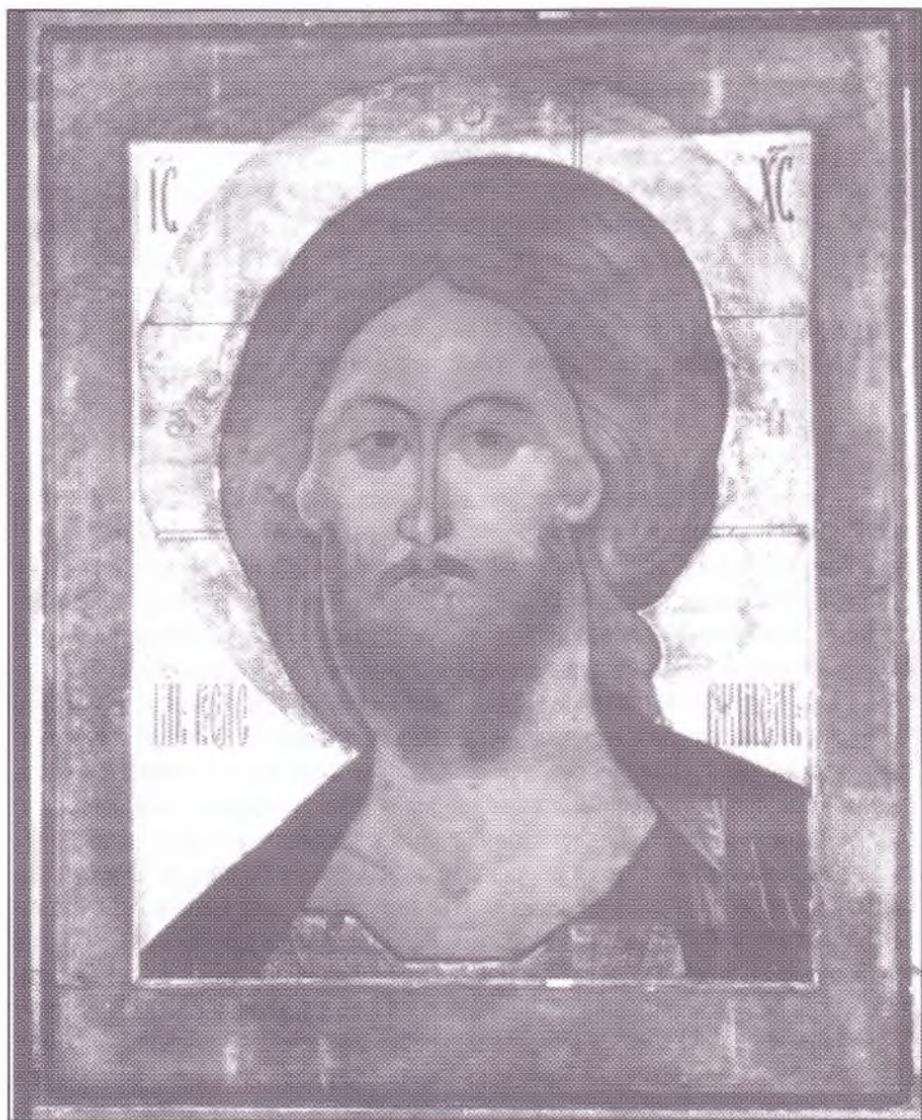
Пятым и последним членом Правления был ген. Виктор Васильевич Чернавин. Именовал его всегда Н.Е. как «Ваше Превосходительство», и Виктор Васильевич принимал это как должное и само собой разумеющееся. Бывший начальник штаба одной из южных русских армий в 1914-18 годах, ген. Чернавин после эмиграции обосновался в Праге. Ему было около семидесяти лет, многословием он не отличался, и если собиралось общество, то он больше молчал. На что он жил мне было неясно, во всяком случае жить ему было, конечно, трудно. Щепетильный и деликатный, в честности и

точности доходивший до крайностей, генерал был привязан к Институту и Николаю Ефремовичу по непонятной мне причине. Думаю, что тут немалое значение имело то обстоятельство, что ему, как холостяку, некуда было пойти, а в Институте была видимость его нужности. Со стороны же Екатерины Александровны и Николая Ефремовича он видел всегда тепло и ласку. Он составлял вместе с Н.Е. какие-то отчеты, протоколы, вел записи, чтобы в будущем где-то и кому-то отчитаться о ведении дел Института. Думаю, что в иконописи он вообще не разбирался, но надо отдать ему справедливость, он и не пытался высказываться по этим вопросам.

После занятия Праги большевиками он был арестован, но вскоре был выпущен; он хранил полное молчание и ничего о своем аресте не рассказывал. Его я больше не видел.

\* \* \*

Моя реставрационная работа в Кондаковском институте началась только с конца августа 1944-го года. Начал я с трех икон, недавно купленных Институтом. Это были: «Жены Мироносицы у Гроба Господня», «Фомимо Уверение» и «Благовещение». «Кондаковцы» воочию убеждались, что никакой мистификации с моей стороны нет, и на их глазах иконы начинали гореть подлинным живописным огнем. Николай Ефремович неоднократно мне говорил, что теперь наступает в жизни Института новый период. И действительно, расчищенные иконы, повешенные в музее на старые места, сияли как жемчужины и «повергали в прах» образа, еще не подвергшиеся очистке. Понемногу стена с иконами стала светлеть, стали видны многие детали, о которых нельзя было раньше предполагать. Я хотел скорее начать расчистку иконы Спаса, приписываемую кисти Рублева, но Н.Е. подсовывал мне другие иконы, так что только в конце сентября я мог приступить к этой ответственной и трепетной работе. Тут заболел Н.Е. дифтеритом, Институт был на время закрыт. Однако я продолжал свою работу и, если Н.Е. чувствовал себя достаточно хорошо, то подносил к открытой двери громадный образ Спаса и показывал издали расчищенное за день. Мы вместе радостно встречали открывающиеся детали, обсуждали, что надо дальше делать, как глубоко вести расчистку, где останавливаться. Эти недели были одни из самых замечательных в Праге, одни из самых моих глубоких переживаний в иконописи.



*Спас.* Икона из быв. собрания Солдатенкова, расчищенная Е.Е. Климовым в 1944 г. Снимок показывает икону после расчистки, но до реставрации. Находится в Трет. Гал.

Непосредственное общение с памятником высокого стиля, духовной глубины и необыкновенного мастерства давало большое удовлетворение. Была ли это подлинная работа Рублева или нет, сказать не берусь, но что это был замечательный образ, полный тихой гармоничной жизни — в этом не было никакого сомнения. Подобный образ мог быть написан только большим мастером и, подыскивая в памяти того, кто бы мог написать его, имя Андрея Рублева вспоминается не напрасно. Подобный отчет о расчистке этой иконы я оставил в Институте.<sup>15</sup>

[Много позже я узнал, что этот образ Спаса попал в запасник Третьяковской галереи, однако там числится не оригиналом Рублева, а работой «Школы Рублева».<sup>16</sup> Мы с Н.Е. тоже предполагали, что лик был вставлен в новую доску, ибо старая по-видимому либо обгорела, либо обветшала.]

Другие иконы, которые я расчищал, не могли сравниться со Спасом по художественным качествам. После Рождества я в самом помещении Института почти не работал, там было слишком холодно, а иконы я брал к себе и работал дома. Да и появляться в Институте мне стало опасно. Перед самым Рождеством после длительных и нудных хлопот, мне отказали в праве пребывания в Праге и приказали в трехдневный срок покинуть город. Я поехал в Сокольники к семье в Заац и сразу же, по дороге с вокзала, зашел в полицию и попросил разрешение на въезд в Прагу, говоря совершенно правдиво, что я приехал сюда на праздники. Мне такое разрешение сразу и выдали, действительное на три месяца. Таковы были порядки — одно учреждение не знало и не ведало, что делало другое! Но вернувшись после Рождества в Прагу, мне надо было быть сугубо осторожным, не появляться во многих местах, обходить стороною здание полиции, Гестапо и пр. Я почти никуда и не ходил, ограничиваясь реставрациями икон и картин, а вечерами переписывал свои записки. Хорошо, что чиновник в городском управлении продолжал выдавать мне продовольственные карточки, не спрашивая документов. С пропиской дело оказалось проще — меня не выписывали. Так дело тянулось до апреля. Последней моей работой в Институте была расчистка иконы «Неопалимая Купина». До меня начал чистить этот образ Пимен Максимович Софронов (мой учитель в иконописании), но бросил на полпути. Икона была написана в 18-м веке с барочной рамкой. Киноварь ярко горела и переливалась среди других ярких колеров. Покрыл я ее лаком для тем-

перы и еще не совсем просохшую отнес в Институт накануне отъезда.

Кроме радости, работа в Институте поддержала меня с семьей материально всю зиму. Этим я в первую очередь был обязан, конечно, дорогому Николаю Ефремовичу.

### *Знакомые*

С Епископом Сергием Пражским я познакомился, когда мы с Н.Е. пошли к нему с визитом.<sup>17</sup> Он встретил нас радушно и беседа потекла совсем непринужденно. Он интересовался всем, что делалось у нас в церковной жизни в Риге, лично знал о Терентия Теодоровича.<sup>18</sup> Небольшого роста, круглый, весь обросший волосами, он напоминал скорее греческого священника, чем русского. Маленькие глазки зорко смотрели на входившего, и доброта, светившаяся в его глазах, казалось, готова была излиться на собеседника. Но как мне потом пришлось убедиться, не только доброта, но и некоторая осторожность, м.б. даже хитроватость, были в его натуре. Он был из Москвы и московская хватка жизни, «округлость», были ему свойственны.

Он сильно картавил, даром слова не обладал и если надо было в храме говорить, то Владыка предоставлял это о. Исаакию, своему «Златоусту», как он его называл, и тот всегда с честью выполнял заданное поручение. Но в частной беседе Владыка просто и безхитростно излагал евангельские истины, сам им глубоко верил и этой верой покорял всех с ним общавшихся. По средам собирались у него к чаю. Он выносил самовар, наливал чай, раздавал сахар и печенье. Народу всегда было много.

Служили мы с Сонечкой заочное отпевание Антонины Гервасиевны и Лели<sup>19</sup>, а после службы на Ольшанском кладбище были приглашены к Владыке на обед. Владыка угощал так просто и радушно, так сердечно, что своею любовью и теплотой очаровал нас и этми отчасти заслонил печальное поминовение несчастных варшавян.

Пригласила его Сонечка на освящение квартиры. Совершил он молебствие, обошел все углы комнат, окропил святой водой, а затем обратился к присутствовавшим с кратким словом, запомнившимся мне: «Все мы странники, кто раньше, кто позже вступает на этот путь. Поэтому не привязывайтесь к земным ценностям, не стройте себе земных сокровищ».

Ходил Владыка с большим черным мешком, в котором носил хлеб, сахар, печенье; когда на подворье после акафиста бывал чай, то Владыка раздавал сахар из своего мешка, кладя знакомым по куску, или два, смотря по степени внимания, оказываемого им этому посетителю. Один знакомый священник рассказывал о трогательном внимании к нему Владыки: «Просил я Владыку помолиться за моих ребят, а он мне отвечает, что всегда молится, а еще ранее просил Господа о даровании мне детей».

Знал он всю «русскую Прагу», запоминал всех и был очень ревнив к оказываемому ему вниманию. Н.Е. говорил, что Владыка не любил, когда его называли «Владыка»; сам Н.Е. его всегда величал «Ваше Преосвященство», чему Владыка был видимо доволен. Он с вниманием присматривался ко всем проявлениям окружающей жизни, любил летом покидать Прагу и проводить на природе несколько дней, собирая грибы и ягоды.

Мне не пришлось слышать о Владыке Сергии ни одного плохого отзыва.

С архим. Исаакием встречался я несколько раз. Служил он благолепно, движения его были ритмичны, круглы, возгласы напевны. Риза прекрасного лилового цвета сидела на нем отлично. Говорил он складно, всегда в проповедях сводя концы с концами. Но во всей его внешности было много наигранного, театрального, больше чем внутреннего, непосредственного чувства. Раньше он был офицером, участвовал в войне 1914-го года, постригся в монахи сравнительно недавно. В обществе бывал словоохотлив, любил яства и вспоминал свое офицерское прошлое.

О. Исаакий служил на Ольшанском кладбище, где храм был построен в последние годы и напоминал псковские постройки, но имел черты, противоречащие этому архитектурному замыслу. С наружной стороны стены были украшены мозаиками, исполненными по эскизам Билибина, мало вдохновенными. Внутренняя роспись была исполнена артелью художников, тоже по эскизам Билибина. Роспись в целом не сливалась с архитектурой храма и сама по себе была мало религиозна. Это скорее были ярославские фрески, лубочные, пряные, никак не вязавшиеся с псковской архитектурой. Храм был маленький, а живопись была криклива, ярка и слишком цветиста. Да и технически роспись была исполнена поверхностно, грубо; не было единства, не было святости. Иконостас не вязался с росписью, лики на иконах были слишком большие. По

существо, я думаю, дело было в том, что эскизы Билибина были не церковны, это были скорее декорации для театра, а не иконы и не религиозная живопись. Одно время здесь работала Т.В. Косинская, даже считалась заведующей артелью. Она хотела писать техникой фрески, но практической стороны дела не знала и приходила за справками с Кондаковский институт. Скоро из Праги она уехала, продолжали роспись уже другие. Я встретил в храме художника Пясковского и видел «Страшный Суд», который он исполнял по эскизу Билибина. Его работа выглядела неряшливо и мало вдохновенно, сам же художник по внешнему виду напоминал отшельника.

Другой пражский священник, о. Михаил Васнецов, сын художника Виктора Васнецова, был рукоположен в середине 1930-х годов. Раньше он был астрономом и учителем и говорил мне, что вернулся к церкви, т.к. дед его был священником, «заговорила семейная традиция». Он производил впечатление уставшего от жизни человека, в его облике не чувствовалось просветленности. Служение его в церкви тоже мало удовлетворяло, т.к. он совершенно не обладал музыкальным слухом и произносил возгласы невпопад к хору. Просил я его рассказать мне о его отце, но все сообщенное им было мне уже известно и не выходило из самых обыденных сведений.

С другими священнослужителями мне встречаться не пришлось. Профессора прот. Флоровского я слышал в церкви, как проповедника. Он говорил серьезно, глубоко; порой казалось, что он забывает, что он в церкви, а не на университетской кафедре, так иногда сложна и глубокомысленна была его проповедь.<sup>20</sup>

\* \* \*

Художник-график Николай Васильевич Зарецкий жил последние годы в Праге, перебравшись сюда из Берлина. Ему было лет семьдесят. Еще до войны 1914-га года он начал заниматься живописью и рисунком, служил при Русском музее в Петербурге. После революции он эмигрировал и работал в Берлине, как график. Помню «Гробовщика» Пушкина с его иллюстрациями, эта книжка была у меня в Риге.

Прожив в Берлине более десяти лет, Н.В. не научился говорить по-немецки, а тут в Праге так и не заговорил по-чешски. В последнее время он был директором русского музея в Збраслове.



*Н.В. Зарецкий. Портрет Е. Е. Климова (масло).  
1945. Прага*

С трудом пришлось ему преодолеть косность прежних распорядителей и провести в некоторых залах новую развеску картин. Но его энергии хватило только на несколько залов, остальные продолжали быть неким свалочным местом, а не художественным музеем. Николай Васильевич видел и сознавал это безобразие, но сделать ничего не мог, ибо Совет музея был против него. Одна из комнат музея была отведена работам самого Н.В. Большой знаток стиля и истории костюма, он был отличным иллюстратором, обладающим тонким юмором. Рисунок его был технически безупречен. Иллюстрации его к «Арапу Петра Великого», «Домику в Коломне», «Горю от ума» сразу же вводили в дух эпохи. Он был мастер своего дела, близкий по духу группе «Мир Искусства». Работы с натуры были у него слабее, как это часто свойственно графикам. Кроме того его тянуло в сторону эротики. Он показал мне как-то свои рисунки к «Луке Мудищеву». Больно было видеть, что большой мастер мог опуститься до такой порнографии.

Жил Н.В. на верхнем этаже дома в мансарде, служившей ему одновременно мастерской, кабинетом, столовой и спальней. Комната была заставлена полками с книгами и увешана рисунками, литографиями, лубками, портретами. В буфете-горке красовался русский фарфор. Н.В. работал обычно стоя у высокой конторки, свет попадал в комнату через верхнее окно. Так и написал я его, стоящим у конторки за работой в своем домашнем зеленом халате. Но портрет его, кажется, не удовлетворил. «Неужели я такой старый?» говорил он.<sup>21</sup>

Н.В. был страстный коллекционер и особенно любил и знал эпоху Пушкина. Он составил богатейшую Пушкинскую выставку, которая была приобретена Чешским Национальным музеем. Страсть к собирательству перешла у него в последнее время к составлению таблиц по истории искусства, вернее по истории культуры. Он брал для этого вырезки из газет, журналов, не щадил и книг. Я получил от него в подарок книгу Э. Голлербаха «Русский портрет в 18-м веке» без единой иллюстрации, все они были употреблены для его таблиц. Такая коллекция могла бы быть хорошо использована при чтении лекций по истории искусства и истории культуры.

Последние годы Н.В. работал мало, жалуясь на то, что нет среды, нет оклика, что он один, что его не понимают. Часто брюзжал и сквернословил, а в добрые минуты охотно показывал свои

таблицы, рисунки и книги, автографы и собрание лубков. Рад был, что есть еще люди, всем этим интересующиеся, острил, и всем своим обликом напоминал доброго старого дядюшку-холостяка. Но холостяком он не был; он расстался с женой в 1918 году и не видел ее около 25 лет. Встреча была печальной. «Боже мой, какая она старуха! — рассказывал мне Н.В. — Мы не могли вместе жить». И он продолжал свое холостячество. Как вошедший в лета, он был ревнив и требовал к себе внимания, бывал обидчив и до смешного капризен. Если что не по нему, не так написано, не так сказано — Н.В. надуется, обидится и ворчит на всех: «Не умеют, сволочи, написать! Ну, не хамы ли?»

Он всегда появлялся опрятно одетым, в лакированных полуботинках, с цветным галстуком, повязанным бабочкой.

Россию любил он страстно и нежно, но любил больше прошлое, называл русских людей почему-то «руссапетами» и искренно считал, что лучших людей, чем русских, нет на свете. Большевиков не переносил и никакого соглашательства с ними не допускал. [После войны он двинулся на Запад и в 1948 году был в Париже, где и скончался.]

\* \* \*

Я познакомился в Праге также с двумя русскими художниками, Михаилом Борисовичем Ромбергом и Ильей Дмитриевичем Шаповым. Первый прошел чешскую художественную школу и придерживался более левых течений, но дальше подражания второстепенным французам не пошел. В последнее время был занят иллюстрациями к «Мертвым душам», сделал около шестидесяти рисунков тушью к предполагаемому чешскому изданию. Беда была в том, что вырос он в Чехии, русскую жизнь знал только по книгам. Его рисунки к «Мертвым душам» были сделаны из чужих глаз. Ему явно импонировали работы Марка Шагала, он все время их вспоминал. Персонажи Гоголя преподносились им в виде гориллоподобных существ с волосатыми ногами и руками, с невероятной величины пальцами, с головой вросшей прямо в плечи, без шеи. Становилось досадно и неприятно, что по таким рисункам чехи должны были представлять себе Гоголя и Россию. Получалось окарикатуривание «Мертвых душ». Не знаю, увидит ли свет это издание?

Как человек, Михаил Борисович был милый и добрый. Он мне помог во время моего первого появления в Праге, водил меня по салонам и знакомил с современной чешской живописью. Русской живописи он не знал вовсе и как человек, выросший на Западе, огульно отвергал всю русскую школу. Живопись для него существовала только во Франции.

Илья Дмитриевич Шапов, славный малый, в живописи был консервативен, писал портреты, хорошо резал по дереву. Одаренности в нем не чувствовалось, он умел ловко устраивать свои дела, умело лавировал и плыл по течению.

К кругу художников причисляю я также Михаила Моисеевича Айваза. Он заведывал, а также был одним из организаторов мозаичной мастерской в Праге. Я с радостью познакомился с ним, т.к. долгие годы сам «болел мозаикой». Он был энтузиастом своего дела, любил его и надеялся в дальнейшем развить эту деятельность. В мастерской составлялись смальты, резались и тут же набирались мозаики. Я сдал ему заказ на мой «Изборск». Работа была в течение зимы выполнена, хотя не хватило всех нужных цветов, новых в то время уже не составляли. Жаль, что чех Хибль, исполнявший мозаику, работал без всякого интереса, отчего вся работа в целом не засверкала, как могла бы. Женственный и мягкий, Михаил Моисеевич очень дружелюбно отнесся ко мне, встречи и беседы с ним оставили у меня доброе воспоминание.

Удастся ли снова поработать вместе, уцелеет ли его мастерская и он сам, увидимся ли мы вообще когда-нибудь? И что с моей мозаикой?

\* \* \*

Из чехов, с кем пришлось познакомиться ближе, назову советника Рудольфа Францевича Хейного и художника Вячеслава Вячеславовича Фиалу.

Советник Хейный был в свое время чехословацким консулом в Харбине, жил также в Москве и на Востоке, а потом в России составил коллекцию предметов восточного и русского искусства. Он был другом Кондаковского института, некоторые из его икон репродуцировались Институтом в красках. Говорил он по-русски неправильно и с большим акцентом. Живя уже на пенсии, ему хотелось, по всей вероятности, какой-либо деятельности, и он находил

ее в Институте, где с ним всегда любезно беседовали. Он тяготел ко всему русскому, на этой почве и образовался контакт.

Квартира его была своего рода музеем восточного искусства: были тут японские и китайские скульптуры, сибирская резьба по камню, мебель черного дерева с вырезанными драконами. А в одной из комнат размещались русские вещи, ампирная мебель, картины художника Лебедева и др. Хороших картин, по правде говоря, не было, были даже и подделки (Левитан, Каразин). Все в целом было скорее собранием того, что попадало под руку. Симпатии его к России простирались так далеко, что и в современном положении СССР видел он все в розовом свете, прикрывая все события понятием «широкой русской души». Я реставрировал несколько принадлежащих ему картин и икон.

Через советника Хейного я познакомился с реставратором проф. Сланским и был приглашен к нему к чаю. С какой радостью видел я после большого перерыва настоящую мастерскую; запахи красок и лаков напоминали мне мою работу в Риге. Знаток своего дела по части реставрации картин, в деле реставрации икон он не имел практики. Ни он, ни жена не имели также представления о русской живописи.

Со стороны Хейного и проф. Сланского я встретил несколько раз самое участливое расположение и даже помощь.

Незадолго до отъезда из Праги попал я к художнику Вячеславу Вячеславовичу Фиала. Он жил на окраине Праги в собственном домике. Жена его, Марианна Борисовна, была москвичкой, сестрой художника Давида Бурлюка. Сам Фиала учился в Академии Художеств в мастерской проф. Кардовского, знал Лелю Теодорович,<sup>22</sup> даже ухаживал за ней, бывал в доме Теодоровичей на 9-й линии Васильевского острова (как свет-то мал!) и совершенно свободно и без всякого акцента говорил по-русски. По внешности он очень напоминал Кустодиева (по портрету Верейского). Спокойный и осторожный, он слишком был подчинен своей динамичной супруге, сидел у нее «под тупфлей». Видно было, как она управляет своим супругом и ведет домашнюю «генеральную» линию; он сам считался с нею и при работе, она даже ездила с ним вместе на этюды. Ее активность мне не импонировала, но в их доме я встречал приветливость и радушие.

Как художник, Фиала был очень разнообразен, больше график, чем живописец, скорее рисовальщик, декоратор и иллюстра-

тор. Он очень много работал, тут были гравюры на дереве, и изысканные цветные литографии-портреты. Он увлекался японскими гравюрами, собрал их большую коллекцию. При всем разнообразии тем, разного технического подхода и пр., я не мог уловить главного художественного хребта Фиалы. Где же он, что есть он, где он по настоящему трепещет, волнуется и изливается от души? Холод творчества, может быть даже некоторая академичность, лежали пеленой почти на всех его работах, среди которых почти все были технически превосходны. Несмотря на русскую школу (я не спрашивал, когда и почему он уехал из России), в нем не чувствовалось русского подхода к творчеству, это был всецело западно-европейский художник, все внимание обративший на вопросы формы. Своих мягких и женственных качеств он в творчестве не проявил. Живопись его была жесткая, деревянная, даже корявая. Проблемы света им совсем не решались. Он не взрастил в себе художественную личность.

\* \* \*

В связи с работой в Кондаковском институте возникли и знакомства случайного характера. Появлялся там «Юрочка» Горохолинский. Он жил в провинции, работал на электрической фабрике, женился на чешке, за что его ругал Н.Е., да и сам «Юрочка» страдал, окруженный чуждыми ему по духу людьми. Всякие торжественные события в семье, крестины, именины и пр. справлялись у него широко. Об этих кулинарных событиях потом долго вспоминали все приглашаемые. Н.Е. был крестным отцом сына «Юрочки».

Изредка появлялся при мне в Институте «Петичка». Когда бывал он в ударе, он острил замечательно, удивительно имитировал Владыку, потешался над скупостью князя. С ним произошел следующий казус. В Великом Посту передавали по радио службу из церкви. Петичка пел в хоре, микрофон стоял рядом, и Петичка, будучи немного навеселе, произнес перед микрофоном проповедь вместо Владыки. Слушатели так и не заметили подмены. Владыка наложил на него церковное послушание. [При приходе большевиков он оказался провокатором и именно он выдал Николая Ефремовича, желая захватить его квартиру.]

Приезжал в Прагу из Ревеля на этюды художник Кайгоро-

дов, надеясь издать красочные открытки с видами города. Работы его были довольно внешни, без особого вживания в объект. Сам же он был тихий и скромный, жена его была менее симпатична. Она незадолго до этого перешла в католичество, стала фанатично проповедовать это учение, говорила о своих французских предках. Рассказывали мне, что за год до этого она вспоминала и о своих немецких корнях. Подарила мне почему-то три акварельные красочки, хотя знала, что акварелью я не пишу.

Из встреч с людьми искусства хочется вспомнить русских певцов, приехавших на гастроль в Прагу: Печковского, Жадана, Купреянову.

Драматический тенор Николай Константинович Печковский выступал в Праге с той же программой, что и в Риге, рассчитанной на довольно непритязательную публику. Вкусом он не отличался и мог петь пошлейшие вещи. В оперных ариях он был лучше; говорят, что на сцене он был совсем хорош, в роли Германна из «Пиковой дамы» особенно. После одного из концертов Печковский попал в Институт и тут мы все мило посидели и повеселились за ужином. Но как многие из артистов, он требовал к себе исключительного внимания, был обидчив, ревнив и раздражителен. Как-то Н.Е. сговорился поехать с Печковским в цирк, но запоздал и заставил Печковского ждать полчаса. Тот возмутился и устроил Н.Е. на улице сцену: «Да вы знаете, что я Печковский!» Николай Ефремович, тоже не из спокойных, в долгу не оставался: «А я Андреев!» Крик стоял на улице. С трудом удалось Тусе Синайской успокоить «взбунтовавшихся Николаев». Впрочем, пыл Н.Е. скоро прошел, и я присутствовал при сцене примирения, когда мы целой компанией пошли к Печковскому в отель.

Ивана Даниловича Жадана я впервые услышал на концерте в Риге в 1936 или в 37 году. Уже тогда меня поразил необычайный тембр его нежного лирического тенора. Теперь в Праге слушал его с таким же, если не большим, восторгом. Я сидел близко, ни один звук не пропадал. Это было настоящее счастье, которое так редко получаешь. Все нутро поднималось, трепетало, плакало. Он пел также в дуэте с Купреяновой, молодой, красивой певицей, арию из «Запорожца за Дунаем». Молодо, подъемно, заразительно — восторг! Мы пригласили Жадана в Институт, но до конца концерта не было ясно, сможет ли он прийти или нет, поэтому никаких приготовлений не предпринимали. Выясни-

лось в конце, что он все же придет и мы пошли за ним. Бедный Н.Е. был сильно озадачен. Чем угостить? Выручила Олечка Дашкарова, знакомая Н.Е., попросив занять гостя показом Института. Иван Данилович проявил настоящий интерес ко всему показываемому, а Н.Е. разошелся и разъяснял все с особенным блеском. Велико же было наше удивление, когда Олечка пригласила нас к столу. Стол был убран зеленью, а почетному гостю — Ивану Даниловичу — был подан жареный гусь! Как это вышло, прямо волшебство! Посидели, выпили, вспомнили, что было 23 июня, канун Иванова дня, когда Иван Данилович именинник. Начали его поздравлять, а он пошел всех целовать и благодарить. Редкий по простоте и деликатности, он производил самое обаятельное впечатление. Семейная его жизнь разбита. Он оказался во время войны на Украине, и с женою и одним сыном попал на Запад, а другой сын остался в России и служит в Красной армии. Рассказы его о работе в театрах СССР печальны. «Если приходишь на репетицию немного усталым и печальным, то сразу обращаются к тебе с вопросом: вам что-нибудь не нравится? Надо все время показывать свой довольный всем вид», — так говорил Жадан. Спасибо ему за часы подлинного счастья, которые мы переживали при его пении.

Купреянова была больше красива и мила, чем очаровывала своим голосом. Она, бедная, совсем издергалась от берлинских налетов, не могла слышать звуков сирен, плакала, кричала и бежала в бомбоубежище. Где-то теперь она и Жадан?<sup>23</sup>

\* \* \*

Так вспоминается мне сейчас в нашей баварской глуши весь калейдоскоп пражской жизни.

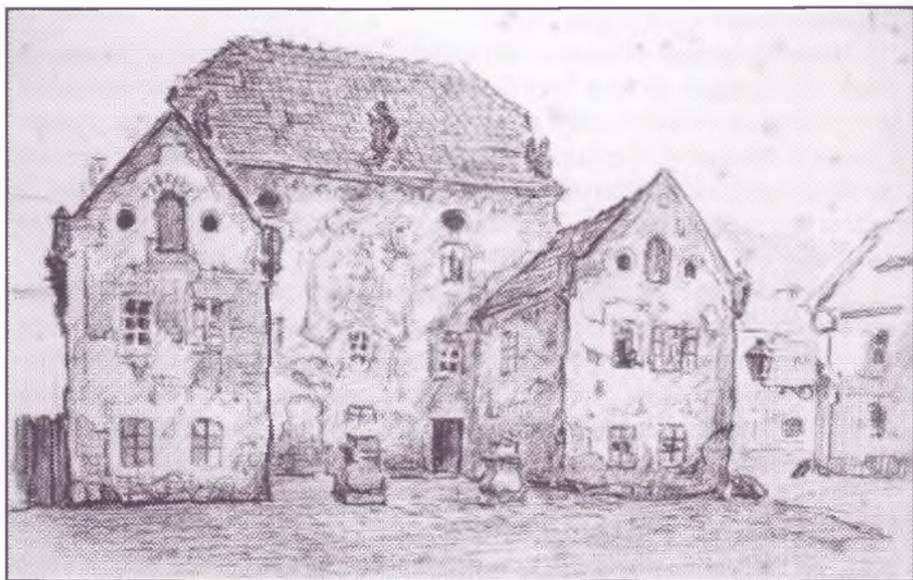
Проведенный в Праге год не прошел для меня, во всяком случае, даром. Интересные люди, работа над иконами, жизнь Института, общение с дорогими Николаем Ефремовичем и Екатериной Александровной останутся навсегда в моей памяти.

*31 декабря 1945 года. Хейденхейм, Бавария*

А II  
ЗАЯЦ – ЖАТЕЦ  
*Конец войны*

Спешно закончив все свои работы по реставрации икон и картин, я выехал из Праги 18 апреля в Заяц, где были моя жена и дети, а также мать.<sup>24</sup> Жизнь в последние дни и недели в Праге была тревожной. После налета 14-го февраля бывали постоянные тревоги, и мы не относились к ним уже так беспечно, как раньше, а начали бегать в погреб-бомбоубежище, упаковали главные вещи в чемоданы, поставили их в передней у выхода, чтобы не задерживаясь бежать с ними в погреб при первых звуках сирены.

С трудом добрался я в Праге до вокзала, сдал багаж и к удивлению узнал, что мой поезд почти сразу же должен отойти. Доехали до станции Кладно, где всем приказано было выйти, ибо бомбардировка предыдущего дня разбила пути и поезд дальше



*Заяц*. Рисунок Е.Е. Климова. 1945 г.

идти не мог. Я связал свои вещи, перевесил их через плечо и направился со своим тяжелым грузом через городишко. Уже темнело, надо было обходить весь поврежденный район и идти дальше лесом, километра три. Мне навстречу шли толпы народа, также с пакетами и чемоданами, все куда-то спешили. Ожидавший нас поезд был уже полон. Толкаюсь в темноте и слышу в коридоре знакомый голос. Это был мой заказчик-антиквар, он сидел тут же в коридоре. Устроился рядом и беседовал с ним часа два. После обычной пересадки на станции Лужна-Лишаны я потерял своего попутчика, но ехать много не пришлось, надо было сперва всю ночь сидеть на пограничной станции. Только к восьми часам утра удалось достичь Зааца. Багаж пришел через неделю.

В Зааце чувствовалась общая нервность. По всем направлениям двигались беженцы со своим скарбом; повозки, арбы, тракторы — все это гремело, придавая Заацу вид города военного времени. Нелепые противотанковые заграждения были выстроены при въезде и выезде из города на главных улицах, тогда как боковые улицы оставались без преград. Как-будто неприятельские танки должны были въехать только по центральным улицам! Да и кто будет неприятелем, восточные соседи, или втайне ожидаемые англо-американцы?

Из окна нашей комнаты можно было видеть происходящее на улице. То бывало тихо и пустынно, то вдруг шумно и многолюдно. По этим приметам чувствуем и узнаем события. Воздушные тревоги днем и ночью истрепали нервы. Около полудня всегда тревога, т.ч. обед всегда с оглядкой на небо. Дети различают все сигналы: “Voralarm”, “Akutalarm”, “Vorentwarnung”, “Entwarnung”.<sup>25</sup> Были дни, когда с 9-ти утра и 6-ти вечера все время были тревоги.

Мы решили с братом Палей<sup>26</sup> подыскивать себе комнатки где-либо в окрестных деревнях, а в самом Зааце часть вещей перенести в погреб к родным Фини.<sup>27</sup> Поход наш в деревню кончился довольно плачевно, нас задержали по дороге, отправили в Гестапо, приняв нас за английских шпионов, дающих сигналы союзным аэропланам. Но, слава Богу, обошлось благополучно, начальник был более радушен, чем задержавший нас солдат. Документы у меня и у Пали были не совсем в порядке, а если бы посмотрели шляпу и пальто у Пали, то нашли бы там ярлычки лондонской фирмы! Пали в свое время купил пальто и шляпу в Норвегии. «Не время для прогулок» — вывод, который мы сделали.

К концу апреля весь город был запружен беженцами из Силезии и Восточных Судетов. Кроме того все время шли войска, двигались танки, броневики. Показываться на улице в штатском было неприятно, да еще без всяких значков и отметок, — смотрели косо и подозрительно. Сидел дома, переписывал старые записки. Почта была парализована, письма приходили лишь изредка. Ильюша заболел скарлатиной, его отделили в комнату Надежды Николаевны,<sup>28</sup> она согласилась за ним ухаживать. Мы ютились в маленькой комнате, в соседней кухне поместилась бабушка. Жадно следили по карте за сообщениями с фронта, глотали слухи о приближении победителей как с Запада, так и с Востока.

Поселилась в нашем доме во втором этаже сестра Над.Ник. — Ольга Николаевна с дочерью, Лидией Ивановной Смирновой. Лидия Ивановна нервничала, поминутно прибежала с новостями одна другой страшнее и спрашивала нашего совета, что ей делать? Ольга Николаевна незадолго до этого сломала левую руку, ходила в гипсовой повязке, тоже нервничала и не знала, что предпринять.

Еще во время моего пребывания в Праге, моя мать познакомилась с проживающим в Зааце священником о. Григорием Крачуком. Мы решили с мамой навестить его и узать о богослужении на Пасху (6-го мая). Жил батюшка в ужасных условиях, в разбитом бомбардировкой доме. Он предполагал, что служба все же будет, но только не ночью, а утром, думал, что и на Страстной неделе тоже удастся отслужить. Обещал зайти и сообщить о часе и дне богослужений. Я высказал ему свое пожелание поместить Образ Тихвинской Б.М. (эскиз мозаики) где-либо в церкви, он обрадовался этой мысли. В пятницу на Страстной он зашел к нам по пути в Гестапо, куда его вызвали для переговоров о богослужении. Он пошел туда с дочерью, знавшей немецкий язык, шел боязливо и удрученно, а через час вернулся к нам совсем разбитый: службы не разрешили. Подавленный, сидел он у нас за столом, не обвиняя никого в очевидном доносе, но сетуя на то, что пасхальной службы не будет.

Тем временем события сгущались, военные обозы двигались больше на Запад, в сторону Карлсбада. Слухи о продвижении американцев в сторону Зааца обнадеживали и радовали, наступление с Востока нас волновало и беспокоило.

В субботу на Страстной, после 9-ти часов вечера, зашел к нам батюшка, освятил икону, помолились мы вместе. Он просил за-

крыть окна, чтобы никто не видел и не слышал. Так без Заутрени мы встретили Пасху. Хотел батюшка взять большой образ, но я просил оставить мне его на праздники.

Было у нас еще волнение как-то утром. Остановился у нас проездом брат Жорж,<sup>29</sup> приехал вместе с двумя знакомыми, а в то утро во всем городе были повальные обыски. Двое жандармов явились и к нам, но в комнату не вошли, ждали в передней и удовлетворились предъявлением документов. Жорж испугался, т.к. остановился в Зааце без разрешения, по своему усмотрению. Но, слава Богу, и это миновало, Жорж и его попутчики уехали благополучно. У Жоржа с собой было три чемодана и складная удочка, с которой он не мог расстаться еще из Риги. Проводил я его до церкви, он сел в какой-то попутный грузовик, направляющийся к вокзалу. Так о нем с тех пор ничего не знаем, куда и как он доехал. [Много позже мы узнали, что ему удалось добраться до Фронхофена и Равенсбурга, где он жил некоторое время. В 1951 году он переехал в Канаду.]

Шум обозов, лязг танков, скрип телег, гудки автомобилей соединялись в один сплошной гул. Движение шло главным образом по соседней улице. Усталые немецкие солдаты ехали вместе с офицерами на повозках и на всем, что двигалось, являя собой картину развала и конца. В лицах и фигурах военных чувствовалась подавленность; им уже было сейчас все равно, что совершалось кругом, но разнузданности все же не было заметно в военной толпе, еще действовало начало врожденной дисциплины. Уходящие и уезжающие смотрели на остающихся как бы конфузливо. Осталась у меня в памяти фигура одного пожилого военного: он еще шел, был без шапки, весь в пыли. Седеющие волосы окаймляли высокий лоб, глаза смотрели устало и грустно. «Где Карлсбад?» — спросил он меня, я показал направление. Он поплелся дальше, согнувшись от усталости. А ведь до Карлсбада было еще 60 километров! Дошел ли он?

Стала слышаться канонада. Отдельные сильные взрывы трясли стены нашей комнатухи. Когда по радио из Брюкса сказали, что женщинам советуют ехать на Запад, Лидия Ивановна не выдержала и, взяв с собою только ручной багаж, бросилась на соседнюю улицу в надежде, что кто-нибудь возьмет ее с собою. И действительно, какой-то офицер распорядился, чтобы ее взяли. Мать ее осталась пока с нами.

Первый день Пасхи по православному календарю был 6-го мая. День был такой же тревожный, как и предыдущие дни. Следующий день был днем рождения сестры Фини, Митц. Из-за тревог, поздравить ее пошел только я. Фини не было дома, она бегала по городу и получала какие-то продукты, материи и пр. Раздавали вино, шоколад из запасов военного управления. Решили на третий день Пасхи утром привезти чемоданы от родственников Фини обратно домой, чтобы все, что можно, было под рукой. 8-го мая был день моего рождения; в пять часов пришли Паля и Фини, посидели, выпили кофе, жене удалось сделать крендель. Вечером все вместе вышли посмотреть, что делается на улицах. Было все так же пыльно и шумно от едущих. Сплошным потоком несло их в сторону Карлсбада. Весь город был в траурных флагах по случаю смерти Гитлера. Приспущенные флаги, толпы бегущих солдат, гомон и топот — это была картина конца. Гул движения доходил до нас всю ночь.

Встревоженные, но не теряющие надежды на «западное решение» вопроса, легли мы спать 8-го мая вечером. Сестра Манечки Саня,<sup>30</sup> уходила всегда рано утром на работу. Так и 9-го мая вышла, но скоро прибежала с вестью: «Большевики в городе!»

Ночью, оказывается, вошли в город советские танки. Подвыпивший солдат говорил на углу окружившим его людям: «Здесь Чехословакия? Война кончена, мы вас освободили».

Я увидел в окно советский танк с сидевшими на нем в свободных позах солдатами с развивающимся красным флагом. На танке была надпись: «Мечта одна и путь один, — в Берлин, товарищи, в Берлин!»

Сомнений не было. Те, от кого мы ушли за тысячу километров, пришли за нами. Тут возникала и гордость за одержанную русским народом победу, но к этому примешивались воспоминания о всем пережитом, и знание сущности советской власти. Начался снова большевистский период жизни.

### *Первые большевики*

Громадные танки, орудия, обозы — все это мчалось мимо наших окон, как бы вдогонку вскачь. Всю следующую ночь без прерыва по нашей улице грохотало гулким звуком от топота копыт и скрипа телег. Спать было трудно. Впопыхах, занавесив окна, сжигал я всякие письма, книги и документы. Много интересного надо

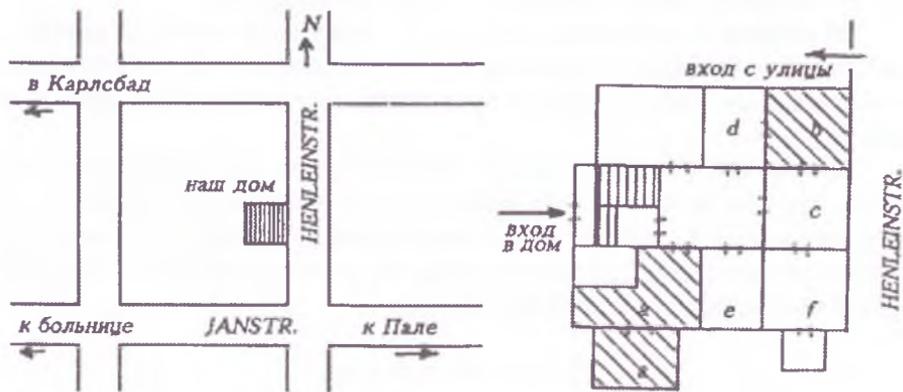
было уничтожить. А в голове кружились мысли о случившемся, одолевала беспомощность и растерянность. Болезнь Ильюши сковала нас; он лежал с начала апреля в скарлатине, двигаться с ним куда-либо было невозможно. А теперь как? Руки опускались, пропала энергия. Выходить не хотелось, я сидел дома и переписывал заметки. К сожалению многие записи, близкие по времени, пришлось уничтожить или изменить.

Только наша Саня выбегала на разведку и возвращалась домой с полной сумкой, собирая где можно пищу и всякие вещи: ножи, бритвы, ваксу, щетки для зубов, сигары, гребешки, вино. Саня сообщала нам все городские новости.

Советские солдаты начали с первых же дней занимать квартиры и дома. Наш двор тоже не устоял от постоя. В один из первых вечеров въехал в наш двор грузовик и расположился под деревьями. Солдаты разместились внизу у дворника Батера, а майор занял комнату наверху, вытеснив Ольгу Николаевну. Он очень удивился, когда О.Н. заговорила с ним на русском языке. «Ах, бабушка, бабушка», — повторял он, но все же из комнаты ей пришлось убраться и переселиться вниз на кухню.

Чтобы было яснее, нарисую расположение нашего дома в городе и план нашей квартиры.

Мы занимали комнату с кухней на первом этаже (а) в кварти-



ре д-ра Циглера. Саня занимала угловую комнату (b), в которой временно поместили больного Ильюшу с Надеждой Николаевной. Сам д-р Циглер жил в большой комнате (c), в которой два окна были заделаны темной бумагой и свет проникал только че-

рез третье. Сам Циглер был чиновник в отставке и был странным человеком. Скупой и малоприветливый, он ворчал на нас, «беженцев с Востока», вселившихся к нему по приказанию городских властей и тем самым нарушивших его старческий покой. Он постоянно курил и от него самого и в его комнате сильно несло табаком. Его старый верный пес «Бари» получал не слишком обильную пищу, а щетки и воды не знал наверно много лет. Одна комната служила ему мастерской, тут был верстак, токарный станок, шкаф с инструментами (*d*). В часы досуга занимался доктор любимым своим делом. Пройдя маленькую комнатку (*e*), где жила жизнерадостная и быстрая прислуга Миля, можно было попасть к больной фрау Душанек (*f*). Она лежала в постели уже лет восемь или десять, скрюченная ревматизмом. Миля ухаживала за ней, вела хозяйство «шефа». Насколько знаю, фрау Душанек была сестрой д-ра Циглера. Никакого внимания к нам доктор не проявлял, мы жили совершенно обособленно друг от друга.

Внизу в полуподвальном помещении проживал дворник Батер со своей толстой женой Марией. Пропажу некоторых вещей Манечки можно было объяснить только присутствием толстой фрау Батер. Сам Батер служил на сахарном заводе сторожем. Во время налетов мы сидели у них внизу; для Ильюши соорудили даже на всякий случай постельку. Чтобы их умилостивить, я всучил ему тысячу крон чешскими деньгами. Со всеми нами и между собой они говорили тогда только по-немецки.

Над нами жила семья Крейль, г-жа Ошевицер и фрау Германн с новорожденной дочкой. Перед концом войны вернулся и г-н Крейль, и стал служить в местном лазарете. С маленькой Карин Крейль очень хорошо играл Алеша.

Солдаты поместились у Батера внизу, а начальник-майор неверху, у Крейль. В нашей квартире никто из военных не поселился, на дверях была надпись: «Здесь скарлатина». Но стало гораздо грязнее и шумнее на лестнице и во дворе. Оказалось, что в грузовике было знамя дивизии, и у входа все время стоял часовой. Это спасло нас от дальнейших вселений. Первое знакомство с советскими военными завела Саня.

Николай Иванович — парень лет 22-24-х, нечто вроде фельдфебеля-политрука и заведующего хозяйством. Подхалим, прислуживается перед начальством и нелюбим солдатами. Выпивает, но

ведет себя сдержанно, о себе рассказывает мало, хотя однажды проговорился, что за погибшего отца отплатил как следует в Германии. Узнав, что я могу рисовать портреты, просил нарисовать и его, но был недоволен тем, что одного из солдат его части я написал красками, а его нарисовал только карандашом. «Переводить материал не стоит», — сказал он. Сидеть ему было трудно, он потел, краснел, засыпал. Как-то пригласил он Саню и Над. Ник. вечером и угостил их выпивкой как следует. Поздно ночью пришли они сильно навеселе и возбужденные. Николай Иванович смотрел просто на вещи и считал, что раз начат бокал, то надо его выпить до конца. Многих усилий стоило Над. Ник. вытащить Саню из этого «приятного» общества. Вообще же Николай Иванович больше всего был занят «женским вопросом» и, получив отбой от Сани, пристроился к другим обитательницам нашего дома и соседних домов. «Отход» Ник. Ив. был все же для Сани неприятен, т.к. благодаря Ник. Ив. мы все получали вкусные и обильные обеды, хлеб, пиво.

Николай Николаевич Попов — электротехник из Москвы, красивый мальчик лет 22-х, добровольно записался в армию, был контужен и ранен. Мечтает о скором возвращении в Москву, о войне вспоминает, как об ужасе, слава Богу, оконченном, надеется, что его контузия и ранение дадут ему право быстрее вернуться к гражданской жизни. Ходит все время в кожаной танковой шапке, следит за внешностью, любит медали и погоны, расшитыми золотом. Это он поведал мне втайне, что в крытом грузовике, который стоит у нас на дворе, находится знамя всей части, потому постоянный караул и ночные оклики: «Кто идет?» Эта стража спасла нас в первые недели от лихих налетов и единичных попыток к грабежу. Ник. Ник. остался очень доволен портретом, любовался им и говорил, что повесит у себя дома в рамке.

Василий Лаврентьевич — третий из солдат, с кем мы ближе познакомились. Он с Волыни, был партизаном, поступил затем в армию. Говорит мало, держится прямо, одергивает свою гимнастерку, совсем не пьет, горделиво носит медаль. Дома осталась у него жена и 3-х летняя дочь, давно их не видел и не получал из дому писем. Две недели скрывался у польки на чердаке, когда деревню заняли немцы. Не выдала его, кормила. Носит при себе ее фотографию. Я невольно спросил его, как ее звали? Не сказал, боясь повредить ей, а м.б. сказала присущая всем советским осто-

рожность. Сдержанность и осанка оставили приятное впечатление об этом простом человеке. Эти трое только и простились с нами, когда их куда-то перевели. Начальник-майор не «снизошел» к нам, а так и выкатился.

Майор был человек дубоватый, малосложный, партийный. В первый раз мне пришлось его узнать по следующему поводу. Дворник наш, Батер, нацепив красную повязку, стал чувствовать себя хозяином дома, говорить начал свысока и вообще показал себя хамом. Вдруг стал чехом. Как-то утром входит он с женой в нашу комнату, держит в руках какую-то бумагу и говорит: «Вы должны в 24 часа очистить квартиру и переехать в гимназию, где составляется эшелон для отправки на родину. Эта комната нужна старой хозяйке для склада ее мебели». Дворник явно рассчитывал, что мы безропотно подчинимся. А я решил обратиться за помощью к майору, который имел обыкновение весь день сидеть на дворе и попивать пиво с солью. В то время, когда я уходил за майором, Батер, в полном восторге от своей власти, грозил Манечке: «Если захочу, то выселю вас в пять минут!» Говорю майору, что нас хотят выселить, что это довольно странно, ибо мы единственные русские в доме и именно нам предписано выехать. Майор степенно направился со мною и в дверях кухни столкнулся с Батером. Тот начал говорить что-то по-чешски, майор прервал его и заявил: «Не смей их трогать. А если что будет, так я тому морду набью.» Майор подразумевал, очевидно, чиновника, написавшего это предписание. Батер присмирел, майор ушел, продолжая отдыхать в саду. На этом попытки выселить нас из квартиры кончились. Любопытно, что весть о возможном выселении дошла до наших знакомых солдат и они встревоженно прибегали узнавать в чем дело, и уверяли нас, чтобы мы не беспокоились.

Раза два я посидел с майором во дворе, он угощал меня пивом; разговор его сложностью не отличался, часто повторялись слова: «точно», «порядок», «так-так». С Саней беседовал он дольше. По его словам мы были у него «на втором плане». Хорошо то, что он не интересовался нами ближе и не вмешивался в нашу жизнь. В комнате, где он жил, Ольга Николаевна обнаружила пропажу некоторых вещей. Хаос и грязь после его отъезда были необычайные, как в комнате, так и в ванной и в уборной.

Были и другие солдаты в нашей части, — сибиряки и украинцы, но говорить мне с ними почти не пришлось. Впечатление они в

целом производили тихое, выдержанное. О положении в России говорили, что оно тяжелое и что о мире мечтать еще рано. «Война кончена, но мира еще нет» — вот их общее мнение.

Поехал я как-то в казармы, где как будто намечалась для меня работа. Привели меня в клуб и просили обождать. Вижу — сидят молодые солдаты, клеют и пишут лозунги. Спрашивают меня, кто я по профессии. Отвечаю. Один из солдат говорит: «Вот я хотел учиться художеству, но война помешала». «Теперь и сможете учиться» — говорю я. «Где уж!» — отвечает и махнул рукой. У солдат такое сознание, что их вообще не отпустят скоро, что будет новая война и дома им скоро не бывать. Да и возвращаться не очень весело, повидали свет, увидели как люди живут, и снова в свои колхозы. Уныло!

Приведший меня лейтенант пропадал довольно долго, затем явился и пригласил в свою комнату, в которой размещалось четыре человека. На столе лежали два экземпляра «Истории ВКП(б)». «Уже снова!» — подумал я, — «людям опять надо взяться за 'науку'».

Лейтенант извинился, что работы для меня не будет. Наверно не подошла моя фигура. Он записал мой адрес, хотел, чтобы я рисовал его портрет, но так ко мне и не явился.

Попал я также на представление самодеятельного театра для чинов Красной Армии. Спектакль шел в здании местного старинного театра. В партере сидели офицеры, мужчины и женщины все в фуражках, громко разговаривали, называли друг друга по именам и ждали генерала. В первый раз видел женщин в форме. Лица мужчин-офицеров были простые и грубые, только у одного полковника был интеллигентный вид, и он как раз сидел поодаль от всех. Представление было слабое, хотя один из танцоров проявил определенный талант.

Вызвали меня в конце мая в Народный Выбор. Полковник давал мне пояснения как надо декорировать площадь к 10-му июня, украсив ее портретами Сталина, Бенеша и ряда маршалов. Полковник со свитой вышел даже на площадь, давал указания, соглашался с моими предложениями. Захотел посмотреть театр, где должны были производиться работы, осмотрел сцену, зрительный зал, фойе, спрашивал сколько мест, какой доход, сколько получали артисты. Технической стороной сцены остался недоволен, говоря, что «в каком-нибудь Новочеркасске» театр поставлен лучше (тут

я наострил уши, т.к. знаю, что в мою бытность в Новочеркасске никакого специального театрального здания в городе не было). Старый театральный рабочий Янка на это заметил ему, что театр в Заце стоит больше ста лет.

Для связи полковник назначил молодого еврея-старшину. На следующий день я приступил к работе в театре над портретом маршала Жукова. Часть работы по исполнению портретов должен был исполнить австриец, Herr Prof. Wagner. Но как внезапно работа началась, так она внезапно и закончилась. На следующий день явился старшина с сообщением, что заказ отменяется. Удивительно, что вчера они не знали, нужно ли затевать всю историю или нет. Оставшееся полотно мы поделили между собой.

Пародия на парад все же состоялась, но никаких портретов на площади не было, войска проходили под звуки оркестра и уходили из города. Вид солдат был отчаянный. Создавалась видимость ухода советских войск из города. В Заце оставался комендант и части войск НКВД, на рукавах у солдат были нашивки с буквами КН, что значило «Комендантский Надзор».

### *Принудительный отъезд?*

Еще во время немцев Манечка познакомилась с представителем латышей в Заце, неким Силинем. Особенного знакомства мы не завязывали, держась в стороне. В конце мая Манечка с Саней решили зайти вечерком к Силиню и узнать, что предпринимают латыши и что вообще слышно. Вернулись они очень скоро с сенсационным известием: завтра утром Силинь и около тридцати латышей должны получить вагон и отправиться на Запад в район Штуттгарта. Силинь советовал получить утром пропуска и ехать вместе. «Если вы хотите, то сможете успеть», — сказал он. Мы решили паковать вещи и собираться. Началась возня, затопили печку, начали печь хлеб, печенье и пр. После трех часов ночи убедились в том, что успеть к утру мы не сможем. Рано утром пошли мы с Саней на вокзал, встретили там уже не такого бравого Силиня. Вагонов еще не было, да и пассажиров было только три человека. Тут мы окончательно отказались от совместной поездки.

Слухи о принудительной высылке на родину все время муссировались, пока, наконец, 23 мая днем в городе было вывешено объявление на трех языках (русском, немецком, чешском), что 24-го, 25-го и 26-го мая все лица из СССР и Балтийских республик обяза-

ны регистрироваться у советского военного коменданта для медленного отправления на родину. В конце объявления следовали обычные устрашения тем, кто этому распоряжению не подчинился. Что было делать? Ильюша был слаб, горло его выглядело ужасно, ехать на Восток казалось равносильно самоубийству. Пошли мы с Саней после обеда 25-го в комендатуру, чтобы узнать, что нам будет сказано. Саня прождала там часа четыре, я уже раньше, но за все это время комендатуру не открывали. То же мое было в субботу, 26-го мая: ни утром, ни после обеда никакой регистрации не производилось. Люди стояли, ждали, волновались, но так никто и не пришел. Группа латышей поехала на Запад 26 мая, получив пропуск от Народного Выбора. Мы же со своей стороны получили от докторши Гримм, лечившей Илюшу, удостоверение в том, что Илюше пускаться сейчас в путешествие крайне опасно. На это удостоверение получили еще печать Народного Выбора и этим отъезд наш был временно отсрочен, но чувствуем мы себя не слишком уверенно.

Через несколько дней пошли мы с Саней на вокзал посмотреть, что там делается и видим... Силинь и его вагон! Оказываются, они больше недели курсировали по железным дорогам, Запад их не пропустили и направляли сейчас на Восток. Люди были крайне измучены. Как хорошо, что мы с ними не связались.

Второй раз по поводу отъезда пришлось мне столкнуться с комендантом. Начали выдавать нам продовольственные карточки. Пошел за ними, — не выдают, требуют разрешение коменданта на право жительство. Был кроме этого повод обратиться к нему по счет одной предполагаемой работы. Я отправился часов в десять утра. В подъезде спрашивают к кому, объясняю, что художник Молодой офицер указывает мне: «Сюда, иди наверх». Поднимаюсь, в комнате двое военных, сидят за столом в фуражках. Присаживаются сесть, повар приносит мне тарелку супа, затем кашу и чайник с кипятком и чаем. Один из военных поплотнее поглядывает на меня искоса и наблюдает, как я ем, как веду себя. Разговор идет об Японии и Финляндии.

Наконец плотный майор приглашает меня к себе в комнату. «Как же вы сюда попали?» — спрашивает меня докторша, майор держит

«Надо домой ехать, там работы много, а для вас и по вашей специальности в самой Москве работа будет».

Соглашаюсь со всем и объясняю свою задержку болезнями в семье. Заказал майор мне написать герб на флаге, обещал дальнейшую работу, записал в записную книжку мое имя и отчество и выдал бумажку на право получения продовольственных карточек. Прошла неделя, и я пришел сдавать работу. Славикова (о ней позже) повела меня на квартиру майора. Она называла его «замполитом» — т.е. заместителем политического начальника. Он еще спал, не сразу открыл дверь, потом впустил нас в свою спальню, был в ночной рубашке, босый и в галифе. При нас начал накручивать портянки и натягивать сапоги. Моей работой остался доволен и просил в дальнейшем написать портрет Сталина, но не мог указать, на каком портрете или фотографии мне следует остановиться. Вскоре он заехал к нам со Славиковой и выбрал нужный портрет. Сидел за столом в фуражке. Обращаясь к Над. Ник., снова заявил: «Домой собираться пора! Вот сколотим группу, дадим ей провожатого и отправим до распределительного пункта». Мы все сразу, конечно, выразили полную готовность ехать и спрашивали, как лучше ехать, через Лейпциг или через Дрезден. Самый факт посещения им нашего дома мне не очень понравился, но делать было нечего и я приступил к работе над портретом Сталина. В один из ближайших дней, работая в театре над заказанным мне портретом Сталина, услышал я стук в дверь, но не открыл, зная, что в театре были рабочие, которые могли это сделать. Придя домой, узнал, что был майор (дома звали его комендантом, хотя на самом деле, комендантом был другой, более молодой майор Абрамов), спрашивал где я, и поехал в театр. То, что он меня искал, мне было мало симпатично. «Если я ему очень нужен, — думал я, — то он меня найдет». И вот на следующий день возвращаюсь я домой около семи часов вечера и вижу около нашего дома автомобиль, в котором сидит мой майор, Илья Дмитриевич Барышников, а шофер что-то чинит. Майор передает мне три буханки хлеба, кило маргарина и приглашает зайти вечером к девяти часам. «У нас сегодня праздник» — говорит он.

Без особо приятных чувств начал я собираться туда, не зная зачем, собственно, понадобилось мое присутствие, что я там увижу и какие разговоры мне предстоят. Идти туда, однако, надо было.

## У коменданта

Подхожу к дому и вижу освещенные окна второго этажа. Поднимаюсь, в передней комнате поставлены вешалки, около них стоит солдат и помогает раздеваться. Он почему-то в белых перчатках и сильно надушен, постоянно подбегает к зеркалу. Одному из пришедших предлагает снять и пиджак, принимая пиджак за пальто. Оказывается, комендант решил принять и угостить представителей чешской власти и устроить торжественный ужин. В комнате вижу на стене мой портрет Сталина, как он попал сюда? Среди пришедших вижу доктора, главного врача больницы и, подсаживаясь к нему, узнаю, кто и что представляют собой пришедшие. Пожалуй, из русских только я и две барышни, работающие переводчицами. Общего разговора нет, беседуют по углам. Чехи не знают русского языка, комендант и его служащие не говорят по-чешски, а на понятном тем и другим языке — немецком — не говорят принципиально. На столе вино и пиво, скромная закуска. Илья Дмитриевич Барышников, как хозяин вечера, рассаживает гостей по рангу и приглашает закусить. Обращается к пришедшим с небольшим словом и уже заранее знаешь, что будет сказано. И в ответных речах все кончилось одним, всем известным словом «Сталин». Получился конфуз — музыканты не знают советского гимна, знают только чешский. Букет красных роз Барышников передает председателю коммунистической партии — художнику, болезненного вида человеку. (Вспомнил Ригу, когда в книжном магазине Вальтерса и Рапа я встретил маленького горбуна и спросил потом, кто это? Оказалось, что это был председатель антирелигиозного общества. Как часто физический вид соответствует деятельности человека. «Бог шельму метит» — говорит пословица не напрасно.)

Беседовал я с соседом, железнодорожным служащим. Он говорил немного по-русски, был в России (наверное в чешском батальоне в 1918-19 гг.) и считает себя коммунистом, но все русское смешивает с коммунистическим. Такие воззрения помогли нам, отчасти, в наших устройствах.

Барышников рассказал немного о своей жизни. Только месяц назад перестал он заикаться. Дважды контуженный, он страдает головными болями и единственное, что ему помогает — это холодные обтирания. Всякое волнение сразу отражается на его здоровье. При его службе оставаться здоровым трудновато. Спрашиваю

его, как может советская власть допускать национальную вражду между чехами и немцами, когда в самой России всякое проявление национальной розни воспрещается? Ведь эта национальная вражда, продолжая я, может перейти и на другие национальности? «Мне самому, — отвечал Барышников, — не нравятся те грубые формы, которые приняли события, но надо понять, что тут больше месть со стороны чехов к немцам». Он думает, что предстоящий год будет очень трудным, ибо переход к новым хозяевам всего сельского хозяйства нарушит правильный ход жизни. Нет промышленности, нет материалов, нет людей. Запасы в большинстве ушли на Запад. Ближайшие перспективы в хозяйственном отношении довольно печальны.

Один из молодых офицеров подзадаривает к выступлениям сидящих, называет имена и провозглашает, что такой-то будет говорить. Становится шумнее, но веселья нет. К Барышникову подходит комендант Абрамов и спрашивает, можно ли начать танцы. Барышников отвечает: «С политической стороны я не нахожу ничего предосудительного в танцах». Любопытно, что даже в этих мелочах комендант зависит от «замполита».

Около двенадцати начали расходиться незаметно, не прощаясь. Ночь была темная, накрапывал дождь. Звуки музыки разносились по пустым улицам. «Завтра уезжаем» — говорил мне один из солдат. Казалось, что это был прощальный вечер, но комендатура продолжала жить, сняли только флаг, и около комендатуры стал дежурить грузовик. Барышников уехал, комендант остался. Говорили, что должен приехать комендант по гражданским делам, но его я не дождался.

[Прошел год и мы получили некоторые новые вести о том, что делалось в Заце после нашего отъезда. Комендант Абрамов оказался фиктивным комендантом, сам себя назначивший на этот пост. Пьянство там стояло дикое. В конце августа 1945 г. он застрелился. Барышников скрылся; говорили, что он был власовец.]

### *Новые знакомства*

Первые знакомые, с которыми мы немного сошлись за последние месяцы жизни в Заце была семья Александровых. Познакомил нас батюшка.

Александр Николаевич служил в последнее время в Народном Выборе. Он направлял просителей в нужные отделения, переводил

документы и удостоверения с чешского на русский и с русского на чешский, был переводчиком, когда приходили советские военные чины. Толчея была в его комнате постоянная, он сидел как бы все время на сквозном ветру, но это не заставляло его быть резким и нелюбезным. Всегда выдержанный и тихий, он помогал советом, сам ходил с просителями, делал все, что было в его силах. Ласковый и доброжелательный, он являл собою пример человека старого режима. И действительно, он был эмигрантом, не успел в России закончить образование, стал военным, потом эмигрировал и работал в Словакии. Там же и получил подданство. Война занесла его дальше и бросила в Заац, к своей падчерице, по фамилии Славик, которая работала потом у коменданта. Он явно не сочувствовал всему происходящему, но вынужден был служить. Его терпели, или вернее он был нужен и был стар, и его оставляли пока в покое.

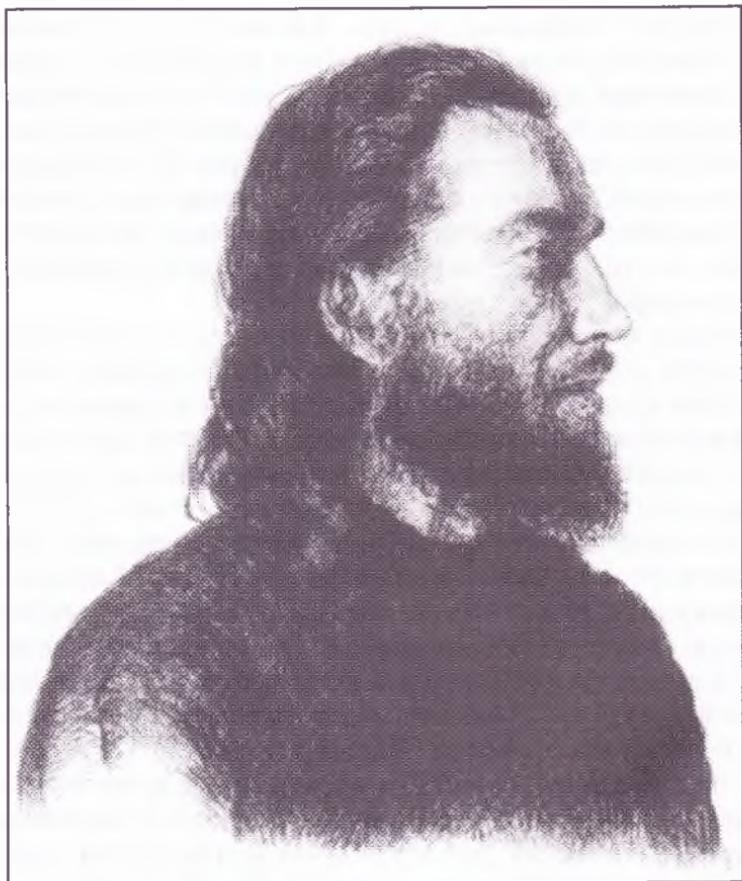
Домашняя обстановка была у него тяжелой из-за больного полунормального сына, в присутствии которого Александр Николаевич явно страдал. Жена его, Эмилия Яковлевна, была тихая, добрая женщина, муж говорил с ней на «вы». Всегда были они очень гостеприимны и милы. Помню, пришел я как-то в Народный Выбор и вижу около Александра Николаевича советских военных. Один из них спрашивает: «Вы из дворян?» Алекс. Ник. опешил, покраснел, и начал говорить что-то бессвязно, что отец его где-то служил, а он сам не мог кончить политехнический институт и пр. Мне стало его жалко.

Он прихрамывал, в чертах его лица сквозило благородство и грусть. Мягкие седые волосы обрамляли худое лицо и весь его облик внушал к себе уважение. Он был последним человеком, с кем мы повстречались в Зааце, пробираясь на вокзал, чтобы уехать. Он пожелал нам от всей души всего доброго.

Его дочь служила с Саней на стекольной фабрике, я ее встречал редко, она покинула скоро Заац, но в памяти осталась как энергичная и разбитная фигура. Вместе с немцами она покинула Ростов и «докатилась» до Зааца и тут уже за границей встретила своего отца, которого не видела двадцать лет.

Падчерица Александра Николаевича, Нонна Славик, обезображена была операцией. Говорили, будто в детстве она обгорела. Подбородок ее сходился прямо с грудью, на шее были заметны следы операции. Думаю, что неприятная внешность направила ее и на соответствующую работу. Муж ее был немец и работал на фа-

брике Гримма и попал в лагерь. Жене стоило много хлопот, чтобы освободить его. Она крутилась постоянно в приемной комнате председателя Народного Выбора, как переводчица. Она была в курсе всех местных дел, знала всех русских и, по-видимому, играла роль осведомительницы. Говорили, будто именно она предложила коменданту идею, чтобы русские жители являлись к нему за разрешениями на продовольственные карточки, этим думала она зарегистрировать всех русских. Была она немного болтлива, ее положение ей нравилось и она была довольна собой. Нам лично она ничего плохого не сделала, но встречаться с нею я не хотел и в душе ей не доверял.



*О. Григорий Кравчук.*  
Рисунок Е.Е. Климова (уголь). Запц 1945 г.

Семья отца Григория Кравчука стала нам в последнее время особенно близкой. Я ходил к ним часто, делал зарисовки и беседовал с бабушкой. Хорошая, дружная семья состояла из семи человек, женщин там было больше, чем мужчин. Матушка, Маргарита Георгиевна, худая и болезненная, с усталым лицом и добрыми глазами, особенно запомнилась мне среди женской части семьи. В ней не было ничего броского и именно эта ее незаметность и тихая скромность создавали ее облик. Отзывчивая и любящая мать, она своим голосом напоминала мне Антонину Гервасиевну.<sup>31</sup> Одевалась в серое или черное, повязывала седеющие волосы черным платком, и этот цвет гармонировал с чертами ее лица, впалыми щеками и глубоко сидящими глазами. В комнатах у нее всегда было чисто, опрятно, очень скромно, — она же называла устройство своей квартиры роскошью. Квартиру свою они получили после ухода немцев как бы «в наследство» с большим фруктовым садом в придачу. Матушка всегда наполняла мой портфель яблоками, и я не помню, чтобы уходил от них без ягод, овощей или фруктов. Дочерей и свояченицу я знал меньше, видел только, что они постоянно шили, что-то кроили, но в трудных случаях всегда прибегали к помощи матери.

Первые впечатления от бабушки были у меня сбивчивые. Скромность его и застенчивость можно было принять вначале за отсутствие культуры, но чем больше я с ним встречался, тем это первое впечатление становилось бледнее. Он весь жил помыслами Церкви, только религиозное им и воспринималось, до всего остального ему как-будто не было и дела. И от искусства он ждал только служения церкви, хотя это, конечно, суживало границы искусства. С момента прихода большевиков в Заац, о. Григорий лишь один раз вышел на улицу, да и то только тогда, когда надо было переезжать на другую квартиру. Обыкновенно же он сидел в своей комнате и читал, и всегда был рад, когда к нему заходили. Таким затворником я и встречал его дома. Беседовал он с удовольствием, возвращаясь постоянно к вопросам Церкви, праздников. Он был священником по призванию, скорбел о преподавании в семинариях, где важное и нужное совсем обходилось молчанием, а особенно изучалась древне-греческая философия. Он мечтал о том, чтобы вся жизнь была просвечена церковным светом. Писал он стихи на ту же тему, чувства в них было много, но поэзии, к сожалению, очень мало. Я замечал, что с каждым разом мы могли лучше беседовать,

когда же я не заходил к нему дней пять-шесть, то это вызывало с его стороны волнение. Давал он мне книги для чтения, из них запомнилась мне книга кн. Сергия Трубецкого «О православии и инославии». Придешь, бывало, и спрашивает батюшку: «Ну что, отец Григорий, какие новости?» — «Ничего, — отвечает, — слава Богу дожили до Петра и Павла (29 июня по ст.ст.), потом будет день Казанской Божьей Матери, дальше Серафима Саровского, так, смотришь, и до других праздников доживем».

Так он жил, от одного праздника до следующего, радуясь, что может еще в жизни отмечать дорогие ему даты. Почти неестественным казался выбор таких ориентиров в наше тревожное время, но не более ли реальной была его жизнь, чем хлопотливое существование других людей, забывших в суете окружающего подлинные устои жизни?

Тринадцатилетний сын Славчик был самой подвижной фигурой в семье. Он носился по городу, был в курсе всех событий, знал, где что продают, куда надо пойти и пр. За свою интенсивную любознательность он даже поплатился, просидев в лагере более суток. Смотрел я на него и думал: в кого он больше, в отца, или в мать? Может и отец в юности обладал той же живостью, как и Славчик?

Виноват я очень перед семьей батюшки, что не сказал им о нашем отъезде. Делалось все в секрете и никто о нашем тайном отъезде не должен был знать. Я зашел к ним накануне намеченного к выезду дня, они беспокоились, что я долго не был. «Мы уж думали, что вы уехали!» Наградили меня снова яблоками. Грустно было с ними прощаться, может быть навсегда. Вся семья о. Григория была польскими подданными, но возвращаться в Польшу они не хотели, а вопрос об их пребывании в Зааце оставался открытым. [Как мне стало позже известно, отца Григория на несколько дней посадили. Ему предложили выехать, он списался со старым священником из-под Ростова-на-Дону и уехал туда со всей семьей.]

Совсем другой облик представляла собой семья Нины Георгиевны и ее матери Ольги Сергеевны (к сожалению, фамилию их забыл). Дочь Н.Г. болела уже около двух лет железками. Болезнь девочки давала возможность оставаться именно в Зааце. Мне казалось даже, что болезнь преувеличивалась сознательно и что девочку укладывали в кровать в особенно «критические» моменты. Они были из Киева, говорили с явно украинским акцентом. Бабушка

была в молодости красивой и теперь еще хранила черты былой красоты. Портил ее только почти беззубый рот. Нос с горбинкой, острые и не совсем добрые глаза, тонкие губы, немного подергивающиеся. Очень нервная и явно озлобленная, она все время курила какую-то дрянь, скручивала самокрутки и с утра до вечера слушала радио. Маленькая комнатка выходила в сад, и вид из окна напоминал поместье, но в самой комнатке всегда бывало неопрятно, запах табачного дыма смешивался с запахом яблок и цветов, и только открытое окно спасало от удручающей атмосферы.

Нина Георгиевна по внешности была интересной, но черты лица не были такими правильными, как у матери. Чуть вздернутый носик, большие карие глаза; ряд ровных белых зубов открывался при ее милой улыбке. Особенно хорош был цвет ее лица, ровный, матовый, светло-бронзового тона. Она была добрее и отзывчивее матери. Во время болезни Манечки она предложила нашим ребятам обедать у нее. Она служила сестрой милосердия в больнице и получала оттуда обед и все прочее. Знала она, конечно, что была интересной, выдумывала разные прически и играла своею внешностью. В разговоре держалась независимо, любила играть роль. Она с матерью страшно боялась насильственной отправки на родину и в разговоре с нами уверяла, что мы, прожившие только год «под солнцем сталинской конституции», понятия не имеем о жизни там. Мы их не очень разувяряли и не показывали, насколько все «там» происходящее, нам давно и хорошо известно. Дня за два до нашего отъезда Ольга Сергеевна зашла к нам, сидела и видела, что все наши вещи перевернуты. Мы отговорились переездом в новые комнаты и стиркой. Она нас слушала и долго и пристально смотрела нам в глаза. [Нина Георгиевна со своей семьей несколько позже нас покинула Заац в западном направлении].

В той же больнице, где работала Нина Георгиевна, служил Борис Николаевич Уралов. Он был практикантом, студентом-медиком 4-го курса Пражского Карлова университета. Мы познакомились еще в Праге. Он приехал на обязательную практику в Заац, говорил свободно по-чешски, вырос в Чехии и был чехословацким подданным, всегда был учтив, следил за своею внешностью, но был холоден в отношениях к людям. Вначале часто посещал нас, играл с ребятами в блочки, но потом посещения его стали редки и почти прекратились. Он отгораживался и не допускал близости с собою, вмешательства в свои дела. Да и сам равнодушно относил-

ся к чужим делам, являя собой пример западного человека, но всегда был внешне любезен и приятен. Никогда нельзя было сказать, какого он мнения о событиях, людях и пр. Он предпочитал улыбаться и молчать.

Была у нас мимолетная встреча с одним карпато-россом, с которым Саня как-то познакомилась на улице. Поручик Чермак зашел однажды к нам вечером, принес бутылку вина и в продолжении нескольких часов рассказывал о своих военных похождениях. Тяжело дыша и обливаясь потом, он с трудом дышал в своем мундире. Вид его был малоинтеллигентный, грубые черты лица сильно загорели, лоб был маленький. Все пальцы его были в кольцах, разные цепочки украшали карманы его брюк и френча. Часы были на руке и в кармане брюк. Форсисто сидя на стуле, поведал он нам на ломанном русском языке свою несложную жизнь. За несколько лет до войны решил он поехать из Карпатской Руси в СССР, но там попал в лагерь и шесть лет провел в Сибири. Когда был опубликован приказ об учреждении в СССР чехословацкой армии, всем чехословацким подданным приказано было явиться для отправки в новое формирование. Таким образом началась его военная жизнь и он дошел до нашего города. Теперь ему было предложено выбирать, что он хочет: 1) получить в свое распоряжение хутор в деревне и вести сельское хозяйство, 2) продолжать службу в полиции, или 3) служить в гражданских учреждениях. Он насмешливо отмахивался от первого предложения, говоря, что сейчас его кормят, обшивают, ни о чем не надо заботиться и такую привольную жизнь променять на другую он не намерен. Когда мы его спросили, ехать ли нам на родину сейчас, он отвечал: «Хлебушка у вас хватает? Деньги есть? Никто вас сейчас не гонит? Так оставайтесь пока здесь». Прямо не говоря, он давал намеками понять, что жизнь сейчас в СССР трудная и привыкать нам к новым условиям будет нелегко. Через некоторое время он зашел к нам, встревоженный распоряжением, что все уроженцы Карпатской Руси обязаны возвратиться к себе на родину. Он спросил меня почему-то, не думаю ли я ехать в Англию? Не получив от меня никакого вразумительного ответа, он скоро ушел. Делал он предложение Сане. Она несколько дней ходила мрачная, мы над ней посмеивались, но тучи скоро разошлись. Чермак перестал у нас показываться.

## *Чехизация и выселение немцев*

Попад осенью 1944-года в Заац, нельзя было здесь заметить чешского населения, слышна была только немецкая речь, да и весь облик города был немецкий. По официальной чешской статистике 1934-го года подавляющее большинство населения Зааца было немецким. Как поступали немцы с чехами в 1938 году, я не видел и знаю только по рассказам. Чешские школы были закрыты и много чехов отсюда выехало. Крестьянское население, как мне говорили, было немецкое.

С первых же дней прихода «красных» началась перелицовка людей и всего города.<sup>32</sup> Немецкие вывески сразу же были сняты и начали заменяться чешскими. Появились люди такого вида, которых мы при немцах не видели. Любовь чехов к внешности, к форме, всяким значкам и отличиям проявилась тут полностью. Люди начали ходить с красными повязками на рукаве, со значками в петлице, с пятиконечными звездами на фуражке, с флажками и пр. Во всех окнах появились портреты Сталина и Бенеша. Цвет флагов был бело-сине-красный (национальные славянские цвета), просто красный, потом белый и красный и только белый. Иностранцы начали ходить со своими отличительными знаками и на тех, кто ходил с «чистой» грудью, или рукавом, оглядывались недоверчиво. Мы сначала прикрепляли латвийские значки, потом красные, а затем уже, когда первая горячка прошла, всякие значки сняли.

Через несколько дней после «ухода» советских войск появилось распоряжение об обязательной белой повязке для немцев на левом рукаве и о белых флагах на немецких домах и квартирах. Гадали мы, для чего это было надобно? По наивности предполагали даже, что приедет международная комиссия и на основании флагов определит, кого в крае больше, немцев или чехов.

Мечты эти оказались чистой романтикой. Флаги на домах оказались нужны для того, чтобы знать, где можно грабить.

Отвратителен был вид шатающихся разнузданных солдат и штатских с автоматами в руках и револьверами за пазухой. Все это напоминало далекое прошлое в России. Грабеж был здесь явный и открытый. Чехи и особенно военные из армии Свободы<sup>33</sup> открыто выселяли немецкие семьи, занимали квартиры и пользовались всем, чем можно. Не стеснялись грабить просто и на улице, особенно на вокзале. Развязная чернь получила право и возможность гра-

бежа. Многие не устояли перед соблазном чужой собственности, оправдываясь тем, что добро все равно пропадает, и если я его не возьму, то возьмет другой.

3-го июня, в воскресенье, был дан приказ, чтобы все мужчины от 14-ти до 65-ти лет явились на площадь перед ратушей к 9-ти часам утра. По всем домам ходили солдаты и выгоняли мужчин. Зашли и к нам, но им сказали, что в доме мужчин нет и я весь день просидел дома. В окно было видно, как бегали солдаты и подгоняли мужчин. В течение дня еще два раза наведывались к нам, но обошлось благополучно. На площади, по рассказам многих, в том числе и брата Пали, сразу отделили чехов и после предъявления документов отпустили домой. Тех, кто опаздывал, били нагайками. Немцев и иностранцев повели группами в неизвестном направлении. В группе, где был Паля, среди иностранцев был также и американец. В нескольких километрах от Зааца был устроен привал. Солдат, обходя с протянутой рукой арестованных, говорил: «Кто добровольно отдаст часы? Еще, еще, мало!» Подошел офицер и повторил это обращение, и нисколько не стесняясь присутствия иностранцев, начался дележ «добровольно» сданных часов, цепочек и колец. В карманы победителей проследовали несколько пар часов. Всю ночь группа провела под открытым небом, не имея права подняться с дороги. Солдаты тешились и пугали стрельбой и без того напуганных людей. Палю отпустили на следующий день утром. Многие немцы, пришедшие на площадь в одних пиджачках, так больше домой и не вернулись, их отправили по заводам и большинство из них попали в Брюкс. Только тот из немцев, кто мог доказать, что он антифашист, мог рассчитывать вернуться домой. Первая проверка мужчин на этом кончилась. Еще несколько раз надо было потом получать удостоверение личности, что также сопровождалось проверкой. Вскоре последовала акция против женщин.

13-го июня были расклеены объявления, в которых было сказано, чтобы все женщины, независимо от возраста, явились на площадь, взяв с собой провианта на три дня, документы, все ценности и не более 25 кг. вещей на душу. Мы увидели в окно, как потянулись мамы с детьми, детскими колясками и рюкзаками на спине. Победоносно разъезжают верховые и плетками устрашают и подгоняют своих «врагов». Верховые ездят почему-то больше по тротуарам. Держать население в постоянном напряжении входит в на-

мерение властей. Злая система в этом методе управления — страх перед властью, полная беспомощность. Никаких прав человек не имеет и отсутствие возможности защиты создает бесправного и слабого человека, а такой человек власти и нужен.

Женщин начали посылать по окрестным деревням на сельские работы. Наша Миля попала куда-то в хозяйство и устроилась на кухне. Митц, сестра Фини, попала в деревню Герадице. В одно из воскресений я навестил ее. Вся их группа, около восьмидесяти человек, была размещена в школе, а в классе, где ночевала Митц с сыном Гансом, было около тридцати человек. Все спали на соломе. Дети галдели, некоторые женщины плакали. Положение их было ужасное: мужья или убиты, или в плену, или в лагерях; дом разграблен, вернуться некуда, а теперь они сами с детьми сосланы на работы. Оттого эти вздрагивающие плечи и сдержанные слезы.

У наших верхних соседей Крейль все сложилось тоже очень печально. Еще при немцах приехал к ним сын их знакомых или родственников, мальчик лет четырнадцати. Катаясь по перилам лестницы, он упал и сломал руку. На регистрацию 3-го июня он пошел с больной рукой, но так с площади и не вернулся. Куда его послали на работу — неизвестно. Советский майор, занимавший у них комнату, уехал и комната освободилась. Ольга Николаевна и Надежда Николаевна захотели поместиться там, но Крейли почему-то с большой неохотой их пустили и начали придирааться к ним, не давали ключей, запирали ванную и пр. Нельзя было понять, почему отношение стало таким отвратительным. В начале июня Ольга Николаевна уехала, а Над. Ник. не хотела оставаться одна наверху и переехала к нам вниз. Крейли остались одни. Тут к ним повадился один чех, солдат армии Свободы. Придет часов в десять вечера, звонит длинным звонком, ввалится в квартиру, потребует приготовить ванну, потом ужин, а затем зовет молодую хозяйку к себе на ночь. Так продолжалось недели полторы. Утром уходит с полным чемоданом. Ходила бедная Крейль жаловаться, ей ответили, что это какой-то бандит, а солдат так поступать не может. В конце концов все семейство Крейль было отправлено в лагерь, квартиру их реквизировали, ее занял чех из Праги. Молодая Крейль служила потом сестрой милосердия в Красном Кресте, прибежала к нам тайком, унося кое-какие свои вещи из погреба. Отношение к нам совершенно изменилось, она стала любезна и даже щедра: давала вино, продукты из своих запасов, видя, что это все равно пропада-

ет и что сами они использовать продукты не смогут.

Добрались чехи, в конце концов, и до нашего хозяина доктора Циглера. Он был беспомощен, растерян, бродил по квартире, зная с чего начать и что укладывать. Ему было предписано в два часа дня явиться с вещами в лагерь. День или два его не было, мы думали уже, что его отправили куда-нибудь, как вдруг являлся доктор. Так появлялся он неожиданно раза два-три, явно не понимая до конца, что вообще происходит. Но затем он пропал совсем и больная фрау Душанек осталась брошенной. Доктор ничего не предпринял, чтобы ее как-то устроить, ничего нам не сказал и ничем не просил. Нам надо было ее поместить в богадельню, мы перевезли ее с вещами и с кроватью. Конечно, дома ей было лучше, но наша судьба была совсем неясной!

Мы остались в квартире совсем одни. Вот уж нельзя было предположить, что мы переживем всех здесь живших! Спасли мы квартиру своим русским языком и получили в конце июля на квартиру ордер.

Вспоминаю одно посещение. Как-то вечером пекли мы блинчики. Раздался звонок, Саня идет открывать дверь и сразу же выливаются двое военных: один без погон с довольно наглой и погнутой рожей, другой — карпато-росс с винтовкой. Они пришли с явной целью поживиться. Услыша нашу русскую речь, они до того обалдели, что как подкошенные сели с возгласом: «Вот те и не куда мы попали!» Мы все наперебой закидали их вопросами и эти «забили» парней. Когда первого мы спросили, как долго он здесь останется, он не без яда отвечал: «Вот вас всех на родину отправим, тогда и сами уедем». С досады на неудачный поход он попросил водки, водки у нас не было, мы предложили ему сигару. Слава Богу, визит этот длился лишь пятнадцать минут!

У Пали было так же, как и у многих других. Сначала ночевали беженцы, целых шестнадцать человек, потом надо было защищать квартиру. Помогал в этом Палин русский язык, но все же въехал один чех. Обилие вещей удерживало Палю в Зааце: чердак, погреб, шкапы — все было полно вещей. Зная только немецкий язык, Фини не решалась показываться на улице. Почти всех ее родных и знакомых разнесло по лагерям и тюрьмам. Нервность Фини доходила

вать; он осунулся, много курил и все ждал защиты от англо-американцев, веря в какую-то, будто бы им свойственную, справедливость. События сгущались, избавления не было видно и он начал вместе с нами обдумывать разные планы отъезда.

[Паля уехал из Зааца в начале сентября 1946 года с целым лифтом вещей и обстановки. Он думал получить чешское подданство, но в этом ему было отказано. Наконец, ему было поставлено на выбор: или в лагерь, или немедленный выезд. Он выбрал второе.]

### *Отъезд*

Начали мы мечтать об отъезде на Запад довольно скоро после занятия Зааца красными. Но мечты так и оставались мечтами, не переходя в область реальных приготовлений. Об одной попытке выезда вместе с латышами я уже рассказывал. Готовились мы и к выселению, паковали узлы и чемоданы, распределяли вещи по степени надобности и чувствовали, что ехать нам все равно придется, только не знали в каком направлении, и будет ли поездка по своему желанию, или помимо его. Поездки в Прагу окончательно определили наше решение об отъезде. Мы почувствовали и увидели, что жить и работать в Чехии нам не удастся, что лучше уехать скорее на Запад, чем быть высланными на Восток.

Манечка лежала в Пражской больнице, предстояла женская операция. Ко дню выхода ее из больницы, я приехал в Прагу, и мы направились в американское посольство, желая узнать о возможности выезда. К сожалению, в этот раз мы ничего не узнали; встретить человека, знающего эти выездные дела, нам не удалось. Все нам говорили, что надо обратиться в благотворительную организацию «Каритас», которая вывозила немцев и беженцев из Праги в Западную Германию. Пятого августа Манечка снова поехала в Прагу, пошла в представительство организации «Каритас», но там ей заявили, что возьмут нас только тогда, если мы принесем разрешение советского коменданта. Они не понимали, что подобного разрешения нам никогда не выдадут. Манечка снова пошла в американское посольство и на этот раз встретила военного атташе, которому объяснять ничего не надо было. Он сказал, чтобы идти сейчас в «Каритас» и сослаться на его имя.<sup>34</sup> И действительно, никаких возражений нам теперь не было, записали в эшелон на восьмое

августа всех нас и Над. Ник. Можно было записать еще и Саню, но она отказалась ехать. Собраться надо было в два дня и все делать тайно. Я получил еще раньше от Народного Выбора разрешение на провоз в Прагу для Манечки в больницу двух чемоданов. Вспоминная поговорку «и ложь бывает во спасение» я переделал цифру 2 на 12, чтобы иметь возможность вывести хоть часть своих работ. По дороге на вокзал была проверка в связи с тем, что чехи не выпускали немцев без разрешения. Чтобы избежать возможных задержек, я сговорился с водителем грузовика, чтобы он провез вещи не по той дороге, где осматривают, а кружным путем. Мы благополучно добрались до станции, грузовик с вещами приехал в последний момент, мы погрузились в коридоре вагона, простились с Саней, и поехали в Прагу. С одного вокзала надо было затем перейти на другой, лежащий в ином конце города. Наняли грузчика с тележкой, наложили свои узлы и чемоданы. Тут какой-то полицейский, заметив груды багажа, спрашивает: «Куда?», думая, что может быть это немцы. Отвечаю: «На родину», и нас пропускают. Шли вслед за тележкой довольно долго через весь город, часть вещей сдали в багаж в направлении Пильзена. Удивительно, что приняли. Пильзен был тогда в американской зоне. Сидели на вокзале, но надо было где-то переночевать, ибо поезд шел только на утро следующего дня. Попали в дом беженцев, отправляющихся на Восток, надо было быть осторожным в разговорах. Постарались возможно раньше утром уйти. Только вечером восьмого августа выехали из Праги. Ехали в товарных вагонах, стояли долго на разных станциях, попали в разбитый бомбардировками Нюрнберг, а оттуда повезли нас на юг и остановили поезд перед станцией Гунценхаузен. Здесь приказали всем вылезти, ибо дальше поезд идти не мог, мост был разрушен. Было часов десять вечера одиннадцатого августа. В темноте погрузили нас на большие военные грузовики и повезли «через горы, через доли» под южным звездным небом в неизвестном направлении. Около полуночи выгрузили нас в деревне Хейденхейм.<sup>35</sup> Никогда раньше не слышали мы об этом месте, сюда мы не стремились. Приехавших было около тридцати человек, вызвали бюргермейстера, чтоб распределил кого куда. Мы попали в здание суда, нам нанесли соломы, чтобы мы могли устроить себе логовища. Это здание — бывший монастырь. Кругом леса, возвышенности, долины. Все перед нами в неизвестности, перспективы теряются в тумане, но на душе легко и свободно после жизни в со-

ветском Зааце. Надо устраивать заново жизнь, на новом месте, среди новых людей.

Куда закинет нас волна жизни? С кем встретимся, кого потеряем, кого вновь обретем?

«Все мы странники, – кто раньше, кто позже вступает на этот путь!» — говорил Владыка Сергей Пражский на освящении жоржиной квартиры.

*Хейденхейм, 15 сентября 1945*

## Примечания

<sup>1</sup> Кондаковский институт в Праге назван в честь Никодима Павловича Кондакова (1844-1925), крупнейшего специалиста по византийскому и древнерусскому искусству, профессора Новороссийского, а затем Петербургского университета, члена Академии Наук. В 1922 г. Н.П. Кондаков был приглашен в Прагу в качестве сверхштатного профессора Карлова университета. После его смерти в 1925 г. основан Кондаковский семинарий, в 1931 г. преобразованный в Институт. В научных сборниках, издаваемых Семинарием, *Seminarium Kondakovianum* — вышло 12 выпусков в период с 1926 по 1940 гг. — печатались выдающиеся специалисты по русской, византийской и древней истории, такие, как Г. Вернадский, Г. Острогорский, М. Ростовцев и мн. другие. Институт также издал ряд богато иллюстрированных монографий по иконографии и археологии, в том числе фундаментальный труд самого Н.П. Кондакова, *Русская икона* (посмертное издание в 4-х тт.; 1928-33 гг.).

Н.Е. Андреев был связан с Институтом в течение многих лет — сперва как студент, затем как сотрудник, а с 1939 г. как заместитель директора. Весной 1945 г. Андреев был арестован агентами СМЕРШа и через некоторое время Институт был закрыт. Судьба архива Кондаковского института, его научной библиотеки и коллекции икон прояснилась только недавно: ряд икон был вывезен в Советский Союз, а значительная часть архива, библиотеки и около 150 икон из прежней коллекции находится сейчас в ведении Чехословацкой Академии Наук.

Наиболее обстоятельный обзор деятельности Кондаковского института содержится в статье Л. Райнлендера: L. Hamilton Rhineland, "Exiled Russian Scholars in Prague: The Kondakov Seminar and Institute," *Canadian Slavonic Papers*, vol. XVI, No. 3 (1974). См. также статью Е.П. Аксеновой «Институт им. Н.П. Кондакова: Попытки реанимации», *Славяноведение* [Москва], 1993, № 4, стр. 63-74. Библиография трудов Н.Е. Андреева помещена в сборнике, составленном в память ученого: *Poetry, Prose and Public Opinion: Essays Presented in Memory of Dr N.E. Andreyev*, ed. by William Harrison and Avril Pyman (Letchworth: Avebury Publishing Co., 1984). В 1996 г. в Таллине, в издательстве «Авенариус» вышли двухтомные воспоминания Н.Е. Андреева: *То, что вспоминается: Из семейных*

воспоминаний Николая Ефремовича Андреева (1908-1982), под ред. Е.Н. и Д.Г. Андреевых.

<sup>2</sup> А.И. Макаровский (1888-1958) — историк, в те годы директор русской школы в Изборске. А.И. Макаровский написал вводную статью к альбому литографий Е.Е. Климова *По Печерскому краю* (Рига, 1938 г.).

<sup>3</sup> Ю.Г. Рыковский (1894-1937) — художник-декоратор в рижском Театре Русской Драмы, близкий друг Е.Е. Климова. См. очерк Е.Е. Климова о Рыковском в *Записках Русской академической группы в США*, т. 17 (1984), стр. 208-215.

<sup>4</sup> И.М. Висковатый — видный государственный деятель при Иване Грозном, в 1550-х годах выступавший с критикой новых, по его мнению недопустимых, течений в русской иконописи. Свое исследование о «деле дьяка Висковатого» Н.Е. Андреев напечатал в сб. *Seminarium Kondakovianum*, выпуск V (1932). Перепечатано в сборнике статей Андреева: Nikolay Andreev, *Studies in Muscovy: Western Influence and Byzantine Inheritance* (London: Variorum Reprints, 1970).

<sup>5</sup> До 1940 г. Псково-Печерский монастырь находился на территории независимой Эстонии.

<sup>6</sup> С.А. Левицкий (1908-1983) — ученик Н.О. Лосского, автор ряда книг и многочисленных статей.

<sup>7</sup> Н.Е. Андреев вспоминает об этом периоде в своем очерке о русской Праге, в сб. *Русский альманах*, Париж, 1981, стр. 335-6. См. также воспоминания Андреева, т.2, стр. 188-9 и 198-9.

<sup>8</sup> Н.Е. посетил Е.Е. Климова в Канаде в 1977 г. и Е.Е. тогда удалось сделать набросок к портрету. Н.Е. скончался в Кембридже в 1982 г.

<sup>9</sup> О своем отъезде в Англию Н.Е. Андреев рассказывает в очерке “Your Destination is Cambridge,” *The Cambridge Review*, vol. C, No. 2251 (29 June 1979), pp. 176-181. Более подробно см. в воспоминаниях Н.Е. Андреева, т.2, стр. 298-307.

<sup>10</sup> Е.Е. Климову очевидно не было известно, что благодаря связям и финансовой поддержке князя, Институту удалось сохранить почти полную независимость от немецких оккупационных властей.

<sup>11</sup> Евразийство — идеологическое движение, возникшее в эмиграции в начале 1920-х годов. Основной тезис евразийства состоял в том, что в силу географических и исторических причин России следует ориентироваться больше на Восток, чем на Запад. обстоятельный обзор всего движения см. в статье Н. Рязановского, “The Emergence of Eurasianism,” *California Slavic Studies*, vol. IV (1967). Из большого количества публикаций о евразийстве в российских журналах в по-

следние годы см. например: *Новый мир*, 1991, № 1; *Вестник Моск. ун-та, Серия 9 — Филология*, 1991, № 1; *Славяноведение*, 1992, № 4. См. также сборник трудов евразийцев, изданный Российской Академией Наук; *Русский узел евразийства: Восток в русской мысли* (М.: Беловодье, 1997). О проникновении большевистских провокаторов в среду евразийцев см. резкий очерк в парижском журнале *Возрождение*, № 30 (1953).

<sup>12</sup> «Полуверцы» — восточноэстонское племя, обращенное Корнилием в православие.

<sup>13</sup> К.Е. Солдатенков (1818-1901) — один из крупнейших московских купцов-меценатов, покровитель искусства и коллекционер. Часть его собрания икон была приобретена в советское время чешским дипломатом И. Гирсой, который предоставил ее Институту.

<sup>14</sup> Сборник стихов П.Н. Савицкого был издан в 1960 г. под псевдонимом «П. Востоков» с предисловием Н. Оцупа и сопроводительной статьей Н.Е. Андреева. См. в прим. 17 несколько другой вариант стихотворения о Корнилии.

<sup>15</sup> Черновик отчета сохранился в бумагах Е.Е. Климова. Приводим здесь небольшую выдержку: «Это не грозный Спас, а Великий, и притом очень русский. Сравнение с образом Христа [работы Рублева] из Звенигородского чина дает много общего. Линия шеи слева и справа, трактовка верхней линии века, движки на скулах — все это очень близко к Спасу из быв. Солдатенковского собрания». Детальное описание иконы (до расчистки) было опубликовано Н.П. Толлем в сб. *Seminarium Kondakovianum*, вып. VI (1933).

<sup>16</sup> См. издание Гос. Третьяковской Галереи: В.И. Антонова и Н.Е. Мнева, *Каталог древнерусской живописи XI-начала XIII вв.*, 2 тт. (М: Искусство, 1963), т. 1, стр. 301. Икона здесь упоминается под рубрикой «Рублевская легенда», что отражает бытовавшее в старообрядческой среде предание о принадлежности иконы кисти самого Рублева. Здесь же указано, что икона поступила в ГТГ в 1951 г.

<sup>17</sup> Владыка Сергей (в миру Аркадий Дмитриевич Королев, 1881-1952) после войны получил кафедру сначала в Вене, затем в Берлине, а в 1950 г. был назначен архиепископом Казанским и Чистопольским. См. очень теплые стихи, посвященные еп. Сергию в сборнике «П. Востокова», стр. 67:

В седую бороду лукаво ухмыляясь,  
Умел ты истину незлобную сказать,  
И так светло, без слов, не напрягаясь.  
Во всё помочь и всё простить, понять.

<sup>18</sup> Протопресвитер Т.П. Теодорович, широко известный православный священник в Варшаве и родственник Е.Е. Климова (тесть брата Георгия), погиб в 1939 г. при налете немецкой авиации на Варшаву.

<sup>19</sup> Сонечка — Софья Терентьевна Климова, жена брата Георгия. Антонина Гервасиевна и Лёля (Елена) — мать и сестра Софьи Терентьевны (жена и дочь упомянутого выше прот. Теодоровича) — были расстреляны немцами вместе с рядом православных священников и группой детей из приюта во время варшавского восстания в августе 1944 г. по причине того, что на их квартале был найден убитый повстанцами немецкий солдат. Весть об их трагической гибели пришла только в ноябре.

<sup>20</sup> Прот. Г.В. Флоровский (1893-1979) — историк культуры, богослов, специалист по патристике. Жена прот. Флоровского была сестрой жены П.Н. Савицкого.

<sup>21</sup> Из записной книжки Е.Е. Климова: «6 февраля 1945 г. Писал портрет Ник. Вас. Зарецкого. Взял его, как Interieur, со всем окружением, в обстановке его комнаты. В наивозможной близости к натуре хотел проверить глаз и руку».

<sup>22</sup> См. прим. 19.

<sup>23</sup> И.Д. Жадану удалось уехать на Запад. Впоследствии он женился на американке и поселился на одном из островов в Карибском море.

<sup>24</sup> Жена — Мария Клементьевна («Манечка», 1902-1978); дети — сыновья Илья (р. 1936) и Алексей (р. 1939); мать — Мария Александровна (1870-1949).

Заац — небольшой город ок. 60-ти км. к северо-западу от Праги. Немецкое название Saaz соответствует чешскому Žatec.

<sup>25</sup> Перечислены разновидности сигналов тревоги, от «первого предупреждения» и до «отбоя».

<sup>26</sup> Павел Евгеньевич (1899-1970), инженер по специальности.

<sup>27</sup> Фини (Жозефина) — жена Павла Евгеньевича. В Зааце проживала ее сестра с семьей, через которую и была найдена квартира для семьи Е.Е. Климова.

<sup>28</sup> Н.Н. Рыковская (1896-1975) — художница, вдова рижского художника Ю.Г. Рыковского. В то тяжелое для Н.Н. время (ее единственный сын погиб на войне) семья Климовых предоставила ей комнату в отведенном для них помещении.

<sup>29</sup> Георгий Евгеньевич (1895-1967).

<sup>30</sup> Саня — Александра Клементьевна Морозова, сестра жены Е.Е. Климова.

В течение нескольких месяцев проживала в Зааце вместе с семьей Климовых, затем вернулась в Ригу.

<sup>31</sup> А.Г. Теодорович, жена прот. Терентия Теодоровича, расстрелянная немцами в 1944 г.

<sup>32</sup> Новое чехословацкое правительство с самого начала объявило о намерении выселить все немецкое население с территории республики. После беспорядочных и стихийно-погромных акций против немцев в первые недели после конца войны, высылка с конфискацией имущества была узаконена Потсдамской конференцией (июль-август 1945 г.). Из трех с половиной миллионов немцев на территории Чехословакии до войны, к концу 1946 г. осталось незначительное количество: около двух миллионов было выслано, остальные сами бежали в конце войны или же погибли.

<sup>33</sup> Генерал Людвиг Свобода (1895-1979) возглавлял чешские военные подразделения, сформированные в 1943 г. в СССР и ведущие бои против немцев на восточном фронте. К 1945 г. численность этих отрядов достигла 60 тыс. человек.

<sup>34</sup> По рассказам М.К. Климовой, эпизод этот был достаточно драматичен. В свое время М.К. изучала английский язык в Риге, поэтому она обратилась к дежурному офицеру по-английски. Но тот ее с раздражением оборвал и резким тоном заявил, что помочь не может. М.К. расплакалась. В эту минуту подошел военный атташе и спросил, почему посетительница в слезах, и чем он может быть полезен.

<sup>35</sup> Heidenheim — небольшой поселок в Баварии, расположенный в 50-ти км. к юго-западу от Нюрнберга. Здесь весной 1949 г. скончалась мать Е.Е. Климова. Осенью того же года Е.Е. Климов с семьей уехал из Хейденхейма в Канаду.

(Примечания составил А.Е. Климов)